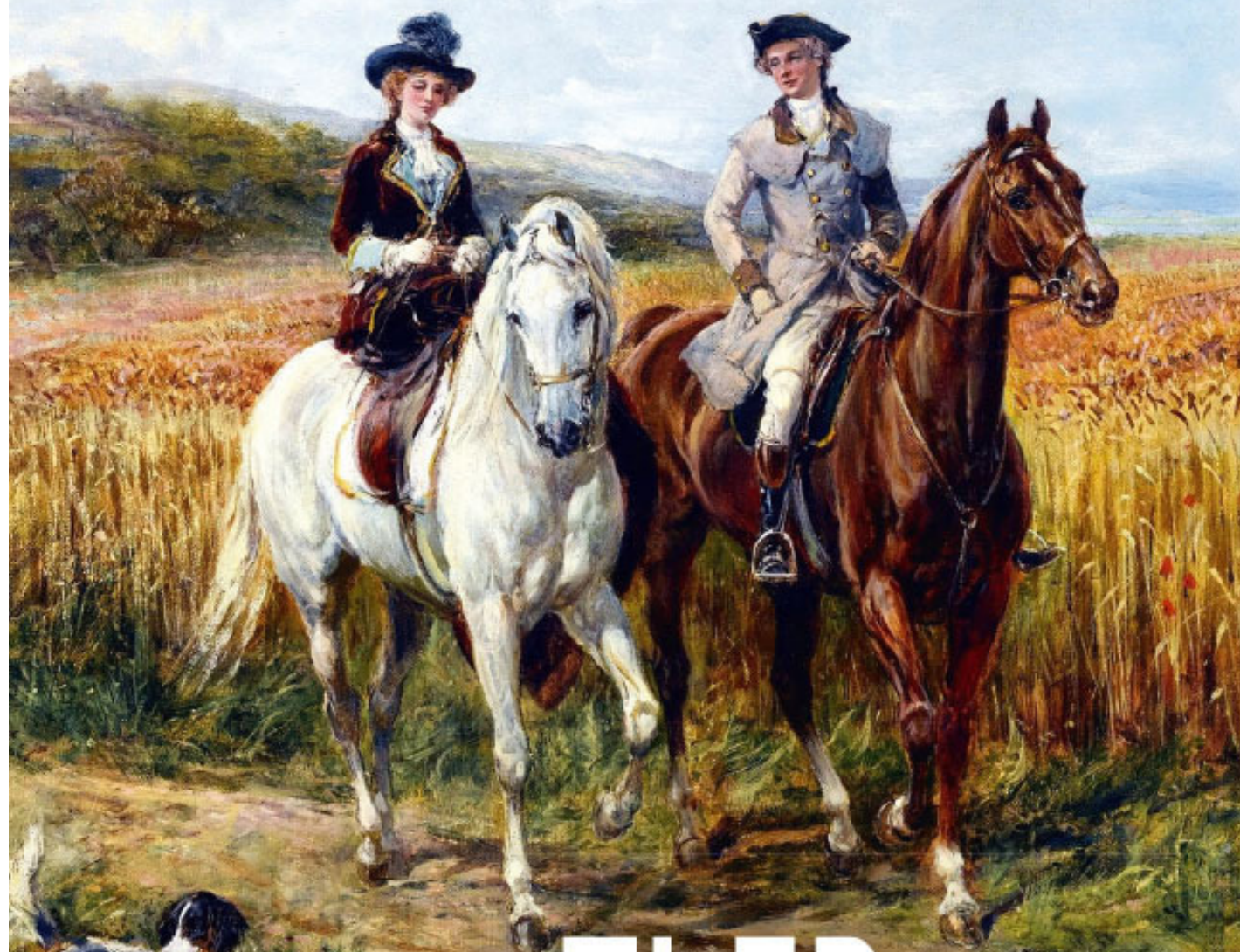


# Герман Мелвилл

ИСТОРИИ  
СКВОЗЬ ВЕКА



# ПЬЕР, ИЛИ ДВУСМЫСЛЕННОСТИ

РИПОЛ КЛАССИК

Галерея слов

Герман Мелвилл

**Пьер, или Двусмысленности**

«РИПОЛ Классик»

1852

УДК 821.111(73)  
ББК 84(7Сое)6-4

**Мелвилл Г.**

Пьер, или Двусмысленности / Г. Мелвилл — «РИПОЛ Классик»,  
1852 — (Галерея слов)

ISBN 978-5-38-614354-1

Герман Мелвилл, прежде всего, известен шедевром «Моби Дик», неоднократно переиздававшимся и экранизированным. Но не многие знают, что у писателя было и второе великое произведение. В настоящее издание вошел самый обсуждаемый, непредсказуемый и таинственный роман «Пьер, или Двусмысленности». В Америке, в богатом родовом поместье Седельные Луга, семья Глендиннинггов ведет роскошное и беспечное существование — миссис Глендиннинг возвращается в высших кругах местного общества; ее сын, Пьер, спортсмен и талантливый молодой писатель, обретший первую известность, собирается жениться на прелестной Люси, в которую он, кажется, без памяти влюблен. Но нечаянная встреча с таинственной красавицей Изабелл грозит разрушить всю счастливую жизнь Пьера, так как приоткрывает завесу мрачной семейной тайны...

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Сое)6-4

ISBN 978-5-38-614354-1

© Мелвилл Г., 1852  
© РИПОЛ Классик, 1852

# Содержание

Посвящение	6
Глава I	7
Глава II	22
Глава III	40
Глава IV	59
Глава V	75
Конец ознакомительного фрагмента.	78

# Герман Мелвилл

## Пьер, или Двусмысленности

© Ченская Д.С., перевод на русский язык, 2017

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017

\* \* \*

## Посвящение

*Грейлоку,<sup>1</sup>  
Его Великолепнейшему Величеству*

В былые времена авторы гордились честью посвятить плоды своих трудов Его Величеству. Прекрасный благородный обычай, который мы, жители Беркшира<sup>2</sup>, должны возродить. Оживим ли мы его, нет ли, Его Величество по-прежнему находится неподалеку от нас, здесь, в Беркшире, возвышаясь, как на великом Венском конгрессе, грядой величественных холмов и вечно подвергая сомнению наше перед ним преклонение.

Но с тех пор, как величественная гора Грейлок – мой личный, истинный лорд-суверен и король – на протяжении бесчисленных лет была единственным великим вдохновителем посвящений, а было это в те дни, когда первые проблески всех беркширских рассветов только-только начинали брезжить на горизонте, уже много воды утекло. И теперь мне неведомо, как его Императорское Пурпурное Величество (королевской породы: Багрянородный)<sup>3</sup> примет посвящение от моей скромной затворницы-музы.

Как бы там ни было, поскольку я живу в мире с моими добрыми соседями, Кленами и Буками, в амфитеатре, над которым царствует его Августейшее Величество, то я получил от него самые щедрые удобрения в безмерном количестве, и так подобает, чтобы здесь я почти-точно преклонил колени и вознес благодарность, невзирая на то, тем не менее, кивает ли благосклонно своей седовласой венценосной головой Его Великолепнейшее Пурпурное Величество Грейлок или нет.

*Питтсфилд, Массачусетс*

---

<sup>1</sup> Грейлок (*англ.* Mount Greylock) – самая высокая точка штата Массачусетс, гора в округе Беркшир на западе штата. Высота – 1064 м над уровнем моря. – *Здесь и далее примечания переводчика.*

<sup>2</sup> Имеется в виду округ Беркшир в штате Массачусетс; обыгрывается полное совпадение в названии с графством Беркшир в Англии, где расположен Виндзорский замок, который на протяжении веков был резиденцией британских монархов.

<sup>3</sup> Багрянородный (*лат.* Porphyrogenitus) – титул, который носили дети византийского императора, как юноши, так и девушки, – те дети императора, которые родились после его восшествия на престол.

## Глава I

# ПЬЕР ВСТУПАЕТ В ЮНОСТЬ

### I

В летнюю пору бывают в деревне такие удивительные рассветы, когда тем горожанам, что приехали сюда ненадолго погостить, следует отправиться на раннюю прогулку по полям и преисполниться изумления, увидев, как дремлет этот мир зелени и золота. Ни один цветок не шелохнется, деревья забывают шелестеть, сама трава словно перестает расти; и кажется, что вся природа тихо внемлет своему глубочайшему таинству и, видя, что ей не остается ничего другого, молча тонет в этом восхитительном и неописуемом сне.

Таким было утро в июне, когда из старого, обнесенного оградой фамильного особняка с высоким фронтоном, вышел Пьер, дыша свежестью и бодростью после сна, и радостно ступил на длинную, широкую, поросшую вязами улицу деревни, по привычке направив свои шаги к коттеджу, что смотрел окнами на пейзаж в конце аллеи.

Всюду, куда ни кинь взор, царство зелени лежало в сонной неге, и бодрствовали одни только пестрые коровы, которые сонно брели по своим пастбищам, сопровождаемые – не ведомые – краснощеками босоногими мальчишками.

Притихший, словно околдованный прелестью этого безмолвия, Пьер приблизился к коттеджу и поднял глаза; замерев на месте, он устремил свой взгляд на одну оконную створку, которая была открыта на самом верху. Почему пылкий юноша замер? Почему его щеки вспыхнули и засияли глаза? В окне на подоконнике лежала белоснежная гладкая подушечка, и побег кустарника, темно-красный цветок, нежно склонил на нее свою кудрявую головку.

Немудрено, что на этой подушке ты смотришься прекрасно, ты, благоуханный цветок, подумал Пьер, ведь не более часа назад ее щечка должна была покоиться тут.

– Люси!

– Пьер!

Так сердце беседует с сердцем, чьи голоса обрели звучание, и на мгновение, в радостном затишье утра, двое стояли, молча, но страстно смотря друг на друга, наблюдая взаимные знаки бесконечного обожания и любви.

– Всего лишь Пьер, – сказал наконец молодой человек, смеясь. – Ты забыла пожелать мне доброго утра.

– Этого будет недостаточно. Добрых рассветов, добрых вечеров, добрых дней, недель, месяцев и лет тебе, Пьер, прекрасный Пьер!.. Пьер!

Несомненно, подумал молодой человек, по-прежнему глядя на нее с невыразимой нежностью, несомненно, распахнулись врата рая, и это светлый ангел смотрит на него сверху.

– Я верну тебе твоё множество пожеланий доброго утра, Люси, не допускаю, что ты существуешь ночью; и, клянусь Небесами, ты пришла из блаженных земель неугасимого дня!

– Фу, Пьер! Почему вы, юноши, всегда клянетесь, когда любите!

– Потому что в нас любовь светская с тех пор, как она смертельно стремится обрести в вас райское блаженство!

– Здесь ты пролетел снова, Пьер, твои хитрые уловки всегда к этому и ведут. Скажи мне, почему вы, юноши, вечно с таким милым мастерством обращаете все наши шутки себе на пользу?

– Я не знаю, как это происходит, но такова уж испокон веку наша манера. И, встряхнув кустарник у окна, он сорвал цветок и демонстративно прикрепил его за пазухой. – Я должен идти, Люси. Только взгляни, вот знамя, с которым я буду маршировать!

– Брависсимо! О, мой любимый рекрут!

## II

Пьер был единственным сыном богатой и высокомерной вдовы; леди, которая являла собой прекрасный пример влияния консервативного и светского круга общения, а также здоровья и обеспеченности, в сочетании со здоровым, в меру ограниченным умом, который не был омрачен безутешным горем и который никогда не изнуляли низкие заботы. В зрелые годы румянец по-прежнему цвел на ее щеках, гибкость еще не покинула талию, брови были ровными, а глаза сияли. В блеске и мерцании свечей очередного бала миссис Глендиннинг по-прежнему затмевала юных красавиц, и, если бы она пожелала, за ней по пятам ходила бы огромная свита поглупевших от любви поклонников, немногим старше ее родного сына Пьера.

Но казалось, что поклонения почтительного и любящего сына вполне достаточно этой цветущей вдове; и, кроме того, Пьер, который бесконечно раздражался и порой даже ревновал из-за чересчур пылкого обожания красивых юношей, которые время от времени, пойманные в нечаянную западню, казалось, тешили себя некими напрасными надеждами о женитьбе на этой недоступной смертной, не один раз, с веселой злобой, при всех клялся, что мужчина – седобородый или без бороды, – который дерзнет попросить руки его матери, этот мужчина по мановению некой смертоносной тайной силы разом исчезнет с лица земли.

Эта романтическая сыновняя любовь Пьера, казалось, находилась в полном согласии с триумфальной материнской гордостью вдовы, которая в ясных чертах и благородном духе сына видела свою собственную красоту, удивительно воплотившуюся в противоположном поле. Личное сходство между ними было поразительным; и если цветение его матери было столь продолжительным, невзирая на летящие годы, то Пьер словно перехватил ее на полпути и при великолепном раннем развитии форм и черт почти достиг во времени той точки зрелости, где его прекрасная мать находилась так долго. В шутливости своей безоблачной любви и пользуясь той необыкновенной привилегией, которая долго взращивалась на совершенном доверии и взаимопонимании по всем вопросам, они имели обыкновение называть друг друга братом и сестрой. На публике и дома это была их привычка; не исполняемая при незнакомцах, эта маленькая пьеса всегда давала обильную почву для игривых намеков, ибо свежесть миссис Глендиннинг вполне оправдывала такое молодящее обращение... В этой праздности и легкомыслии один за другим протекали безоблачные дни общей жизни матери и сына. Но так и река спокойно несет свои воды, пока не встретит на пути крупные валуны, которым суждено навсегда разделить ее на два неслиянных потока.

Превосходный английский писатель тех времен, перечисляя главные преимущества своей жизненной участи, в первую очередь упоминает о том, что он родился в деревне. Так было и с Пьером. Наилучшей судьбой для него было появиться на свет и расти в деревне, в окружении картин природы, необычайная прелесть которых была превосходной почвой для утонченного и поэтического ума, в то время как общеизвестные названия пленительных окрестных красот взывали к самым гордым патриотическим и семейным воспоминаниям из истории рода Глендиннингов. На лугах, которые под уклоном спускались от затененного тыла поместного особняка, вдали от извилистой реки, на заре колонизации прогремело сражение с индейцами, и в том сражении прапрадед отца Пьера, смертельно раненный, сброшенный с лошади, сидел на седле в траве и угасающим голосом побуждал своих солдат идти в атаку. С тех пор эти места стали называть Седельными Лугами, то же название получили поместье и селение. Далеко за этими равнинами, – такое расстояние Пьер мог пройти за день, – выси-

лись легендарные горы, где во времена Войны за независимость<sup>4</sup> его дед несколько месяцев защищал примитивный, но имеющий очень важное стратегическое значение форт от повторяющихся атак индейцев, тори и регулярной армии. До этого форта добежал, спасая свою жизнь, цивилизованный, но кровожадный метис Брендт, его пустили внутрь и сохранили жизнь, а он стал сотрапезником генерала Глендиннинга в мирные времена, которые последовали за мстительной войной. Все воспоминания о Седельных Лугах наполняли Пьера гордостью. Своими подвигами Глендиннинги не только закрепили за собой надолго свое поместье, но и захватили также знаки власти трех индейских вождей, исконных и единственных властителей этих величественных лесов и равнин. С таким-то высокомерием Пьер в те дни, когда был беспечным молодым человеком, относился к истории своей семьи, мало заботясь о том, чтобы повзрослеть и начать более широко и критично смотреть на жизнь, что навсегда лишило бы эти события прошлого того блеска славы, которым упивалась его душа.

Но воспитание Пьера было бы неблагоприятно ограниченным, если бы всю свою юность он безвыездно провел в деревне. Еще маленьким мальчиком он начал сопровождать своих отца и мать – и после одну только мать – в их ежегодных поездках в город; и там, натурально, вращаясь в большом и блестящем обществе, Пьер постепенно приобрел более изящные манеры, но не изнеженность, которая не подобала бы потомку из прославленного военного рода, растущему на чистом деревенском воздухе.

Не только личность и манеры Пьера были довольно поверхностными, он был также обделен по части лучших и чистых человеческих чувств. Не напрасно провел он долгие летние послеполуденные часы в полном уединении отцовской библиотеки, в которой были тщательно подобраны книги благопристойного содержания, где нимфы Спенсера слишком рано заманили его в путаницу лабиринтов всепокоряющей красоты. Словом, с приятным жаром в конечностях и нежным, но воображаемым жаром в сердце наш Пьер незаметно для себя вступил в пору юности, не ведая о том грядущем периоде жестокой пронизательности, когда это слабое пламя покажется ему прохладой и он станет испуганно искать более пылких страстей.

Но те гордость и любовь, которые так много участвовали в воспитании молодого Пьера, не забыли научить его самому главному. Отец Пьера был абсолютно убежден, что все благородство заключается в самомнении, всякое воззвание к которому нелепо и абсурдно, если только оно не исходит от главенствующего благородства и нравственного величия, присущего религии, которая была в таком полном согласии с его цельной натурой, что, называя себя джентльменом, он мог по праву принимать смиренный, но не лишенный величия вид истинного христианина. С шестнадцати лет Пьер помогал матери вершить святые таинства<sup>5</sup>.

Было бы излишне и довольно затруднительно, может быть, точно назвать те побуждения высшего порядка, которые дали жизнь его юношеским мечтам. Довольно и того, что Пьер унаследовал иные и многочисленные благородные черты своих предков и оставался наследником их лесов и ферм; так что, по независимому стечению обстоятельств, он, казалось, перенял их безоговорочное смирение перед святой верой, которую первый Глендиннинг привез из-за океана, из прежнего отечества, на которое пала тень английского священнослужителя. Стало быть, Пьер являл собой благородную сталь джентльменского клинка, пристегнутого к шелковому поясу католической веры, и героическая смерть прапрадеда влила в его сердце мечты о том, что в последней суровой схватке роскошный кушак непременно стяжал бы своему обладателю венец Славы, который надобно носить ради божьей благодати всю жизнь и который обовьет его, когда мужчине настанет срок упокоиться в могиле. Но, обладая столь чутким восприятием

---

<sup>4</sup> Война за независимость (*амер.* Revolutionary War, American War of Independence; 1775–1783) – война американских поселенцев с британцами за выход из состава Британской империи.

<sup>5</sup> На американском Юге, который Мелвилл избрал местом действия, именно хозяева поместья в отсутствие священника брали на себя его роль и обладали правом крестить, женить, хоронить своих черных рабов.

красоты и поэтичности отцовской веры, Пьер слабо предвидел, что в этом мире есть место для тайны, более сокровенной, чем красота, и что время жизни подчас тяжелее смерти.

Столь счастливо для Пьера долгое время текла известная часть его жизни, что он отыскал лишь один изъян в этой велеречиво составленной книге судеб. В почтенном фолианте ни слова не говорилось о сестре. Он сокрушался, что такое приятное чувство, как братская любовь, обошло его стороной. Не мог фиктивный титул, которым он так часто ласкал слух своей матери, заполнить эту пустоту. Его чувства были совершенно уместны, но в их коренных мотивах и причинах даже Пьер не мог в то время толком разобраться. Как правило, прекрасная сестра – второй счастливый дар, который небеса вручают мужчине, и первая серьезная веха в жизни, ибо жена появляется позже. Многие душевные качества, которые потом составляют очарование жены, он сперва находит в сестре.

«О, если бы у моего отца была дочь! – не единожды сетовал Пьер. – Та, кого я мог бы любить, и защищать, и сражаться за нее в случае нужды. Как это было бы славно – биться в смертельной схватке ради очаровательной сестры! Ах, больше всего на свете я бы хотел, о боже, чтобы у меня была сестра!»

В таких выражениях, до того как он увенчал себя розами возлюбленного, Пьер нередко молил Небеса даровать ему сестру, но в то время Пьер еще не ведал, что если и должен человек горячо молиться о чем-то, так это о том, чтобы не сбылись в точности те молитвы, самые благочестивые, которые он возносил к Небесам в юности.

Может быть, эта необъяснимая тоска Пьера по сестре была отчасти вызвана тем, что временами на него накатывало леденящее чувство одиночества – он был не только главой семьи, но и единственным в роду, наследующим имя Глендиннингов. Число ветвей могучего и раскидистого фамильного древа мало-помалу убывало, и так как у родных на свет рождались одни девочки, то не успел Пьер опомниться, как в его окружении появилось много родственников и родственниц, но среди них не было ни одного мужчины, кто носил бы фамилию Глендиннинг и мог составить ему компанию, за исключением его отражения в зеркале. Но когда он находился в своем обычном расположении духа, мысли об этом не слишком его печалили. Более того, порой это и вовсе была волна ликования, которая накрывала его с головой. Стоило ему об этом подумать, как он сначала розовел слабым румянцем, а потом делался красным, как кумач, ибо нежно лелеял в глубине своего юного сердца тщетную и блистательную надежду стать единственным, кто воздвигнет столп славы, который вознесется ввысь по сравнению с монументами, что воздвигли его благородные предки.

При всем этом наш Пьер был ничуть не встревожен тем зловещим и пророческим опытом, каковым взывали к нему не столько пальмирские каменоломни, сколько сами пальмирские руины. Среди тех руин высится одна разрушенная, недостроенная колонна, и на несколько лиг дальше – брошенная в каменоломнях века назад, ветхая и древняя капитель к ней, также неоконченная. Эти гордые развалины захвачены и разрушены временем, эти гордые останки время сокрушило еще в зародыше, и надменную капитель, что должна была взмывать к облакам, время попорало, оставив лежать в грязи. О, как неугасимо пылает эта вражда, которую время ведет с сынами человеческими!

### III

Нам уже известно, что красота окружающей природы навевала Пьеру гордые воспоминания. Но не одну простую игру случая нужно было благодарить за то, что этим прекрасным землям выпала честь прогреметь в веках благодаря подвигам его предков, ведь, по мнению Пьера, эти холмы и болотистые низины были, казалось, священными оттого только, что долгие годы находились в безраздельном владении его рода.

Нежная сентиментальность, любя, набрасывает на все окружающее покров мечты, и в ее глазах бесконечно драгоценна малейшая безделушка, что когда-то принадлежала любимому человеку, который давно исчез с лица земли; для Пьера в роли такого талисмана выступали все окрестные земли, ибо он помнил о том, что этими холмами любовались его благородные предки, по этим лесам, по этим лужайкам, у этих ручьев, этими запутанными тропками многие важные дамы в его роду гуляли во времена своего веселого девичества; рисуя в своем воображении такие живые картины, Пьер, любящий потомок, наделял эти места символическим смыслом, так что даже сам горизонт казался ему памятным кольцом.

Монархии остального мира до сих пор верят химерам, что в демократической Америке все еще не воздвигли ни одного долговечного кумира своему святому прошлому и одним только вульгарным страстям навеки суждено все бурлить да кипеть в этом котле неопределенного настоящего. Их заносчивость, по-видимому, очень точно определяет общественное положение наших бар. Когда нет ни привилегированной знати, ни майората, как подобает вести себя членам любой аристократической фамилии в Америке, чтобы навеки торжественно занести свое имя в анналы истории? Конечно, есть известная пословица, которая гласит, что, сколь бы ни была знаменита семья, спустя всего полвека ее может постигнуть забвение; эта максима, вне всяких сомнений, остается в силе, когда речь идет о простых людях. В наших городах семьи растут и лопаются, как пузыри в бочке. В самом деле, дух истинной демократии действует у нас как слабый кислотный реактив, неизменно производя на свет новое, когда разъедает старое; так на юге Франции получают ярь-медянку, простой вид зеленой краски, разъедая перебродившей виноградной выжимкой старые медные пластины, которые туда опускают. Одним словом, нет в природе более красочного разложения, чем процесс коррозии, но, с другой стороны, ничто так живо не внушает мысль о торжестве жизни, как зеленый цвет, ибо зеленый – особый символ вечного изобилия самой природы. В этом, если смотреть на все сквозь призму удачной метафоры, и заключается необъяснимая притягательность Америки; и не стоит удивляться, что в чужих краях сложилось о нас совершенно неверное представление, если мы поразмыслим над тем, в каком удивительном противоречии Америка находится по отношению ко всем мерилам прежнего жизненного уклада и как чудесно все для нее сложилось, когда сама смерть преобразуется в жизнь. Поэтому те политические учреждения, которые в других странах кажутся стоящими выше всякого притворства, в Америке, мнится, обладают божественной добродетелью природного закона, ибо самый могущественный из природных законов тот, согласно которому она из смерти рождает жизнь.

Впрочем, остались еще такие явления в осязаемом мире, над которыми не столь властна самодержавная и вечно переменчивая природа. Трава вырастает заново каждый год, но дубовые ветви не поддаются этому закону годичной метаморфозы в течение долгих лет. И если в Америке не счесть семей, столь же кратковечных, как листья травы, то немного найдется таких, что высятся, подобно столетнему дубу, который, вместо того чтобы гибнуть, каждую весну выпускает новые ветви, так что само время капитулирует перед ним и, не отсчитывая его уходящие минуты, начинает служить умножению его процветания.

В этом важном разборе мы станем – без тени высокомерия и честно – сравнивать наши родословные с английскими, и после того, как минует первое смущение, сколь бы странным это ни показалось, не обойдемся без требования определенного равенства. Смеем сказать, что «Книгу Пэров» в таком вопросе можно смело взять за классический образец, с помощью которого мы можем судить о ней же, ведь составители этого труда не могут совсем не знать, на чье именно покровительство они больше всего уповают, и обыкновенный здравый смысл подскажет нашему народу, как следует судить о нас. Но звучные титулы не должны сбивать нас с толку и заставлять по обычаю покорно склонять голову. Ибо как дыхание в наших легких совершает передачу наследия от одного к другому и в эту самую минуту мое живое дыхание имеет более длинную родословную, чем она у тела верховного раввина евреев, и уходит кор-

нями в такую даль, до которой только можно безошибочно проследить ее, так и имена простых людей, подобно воздуху, также выступают звеньями цепи этой нескончаемой родословной. Но если Ричмонд<sup>6</sup>, и Сент-Олбанс<sup>7</sup>, и Графтон<sup>8</sup>, и Портленд<sup>9</sup>, и Бакклюф – эти имена почти такие же древние, как сама Англия, то у современных герцогов, носящих эти титулы, подлинная родословная прервалась во времена правления Карла II<sup>10</sup>, и не нашла себе ни единого достойного источника; и с тех-то самых пор, как мы полагаем, менее всех под солнцем прославились предки тех самых Бакклюфов, к слову, чьи прапрабабки не смогли увернуться от чести стать матерями, это правда, но каким-то чудом избежали церемоний, предваряющих подобные события. Король в те времена еще был властелином. В те времена жилось несладко, ведь если можно, поморщившись, стерпеть толчок от бедняка, то смертельно обидно, когда тебя задевает джентльмен, и, стало быть, подпасть под случайный удар короля – самая незавидная участь на свете. В Англии пэрство продлевает себе жизнь постоянными реставрациями и всяческими ухищрениями. Благодетель, которого звали Георгом III<sup>11</sup>, произвел в пэры пятьсот двадцать два человека. Был один графский титул, что пылился в забвении пять веков, пока нежданно-негаданно его не присвоил себе некий буржуа, который не мог похвастаться правильным происхождением, зато держал свору бойких адвокатов, которые ловко придали делу нужный оборот. Признаем, что ни Темза, с ее извилинами стым природным руслом, ни Бриджуотерский канал,<sup>12</sup> с его запутанным судоходным движением, не могут сравниться с замысловатыми родословными как потомственных, так и новых аристократов. Недолговечные, как трава, и плодящиеся, как плесень, те семьи, которым сделали прививку дворянства, благоденствуют и уходят в небытие в вечных и знатных землях. В Англии наших дней угасло двадцать пять сотен дворянских родов, но их титулы уцелели. Так это пустое сотрясение воздуха, титул, живет на свете дольше, чем сам человек или даже чем целые дворянские династии; и хоть воздух наполняет легкие человека и дает ему жизнь, но человек не властен заполнить пустоту воздуха или вдохнуть в него жизнь взамен.

Стало быть, вся честь принадлежит титулам, и вся светская учтивость – живым людям; но если Сент-Олбанс станет толковать мне о своей древней и прославленной родословной, я вынужден буду со всей возможной учтивостью отослать его к Нелл Гвинн<sup>13</sup>.

<sup>6</sup> Ричмонд, герцог Ричмонд (*англ.* Duke of Richmond) – герцогский титул, который был создан в 1525 г. для Генри Фицроя, внебрачного сына английского короля Генриха VIII и Элизабет Блаунт. Род герцогов Ричмондских несколько раз пресекался, и каждый раз короли жаловали этот титул своим незаконным сыновьям. Мелвилл имеет в виду Чарлза Леннокса, незаконного сына короля Карла II и Луизы де Керуаль, который получил от отца свой титул герцога Ричмонда в 1675 г.

<sup>7</sup> Мелвилл упоминает другого незаконного сына короля Карла II, Чарлза Боклера, которому король пожаловал титул герцога Сент-Олбанса.

<sup>8</sup> Графтон (*англ.* Duke of Grafton) – еще один титул, созданный английским монархом Карлом II для своих внебрачных сыновей.

<sup>9</sup> Граф Портленд (*англ.* Earl of Portland) – наследственный титул, переживший две креации – в первый раз был создан в 1633 г. и затем возрожден в 1689. В 1716 г. граф Портленд стал герцогом Портлендом.

<sup>10</sup> Карл II Стюарт (*англ.* Charles II, 1630–1685) – английский король из династии Стюартов, сын Карла I, казненного во времена Славной революции 1688 г., и Генриетты Французской. Взошел на престол после смерти Кромвеля и реставрации монархии в Англии. Историки спорят, оценивая его правление; одни ставят ему в заслугу, что во времена его правления власть короля была отделена от власти парламента и возникли политические партии тори и вигов; другие упрекают в слабости и реакционности, как правителя.

<sup>11</sup> Георг III (*англ.* George III, 1738–1820) – британский монарх из Ганноверской династии, царствование которого длилось почти шестьдесят лет. Времена его правления были богаты на события: Великобритания и Ирландия стали Объединенным Королевством, в ходе американской Войны за независимость на политической карте появились США, прогремели Великая французская революция, Наполеоновские войны. Под конец жизни Георга III поразил тяжелый психический недуг, и вместо него страной управлял регент.

<sup>12</sup> Бриджуотерский канал – канал в Великобритании, построенный в 1762–1772 гг. между Манчестером и портом Ранкорн, длина которого составляет 68 км; положил начало каналомании в Соединенном Королевстве.

<sup>13</sup> Нелл Гвинн (*англ.* Nell Gwynn 1650–1687) – Элеонор Гвин (или Гвинн), прозванная Нелл, фаворитка короля Карла II, проститутка низкого происхождения, которую народная молва справедливо окрестила Золушкой, что попала «из грязи в князи», была торговкой апельсинами в театре, завела дружбу с актерами, и они научили ее азам актерской игры и танца,

После царствования Карла II совсем немного найдется семей – они едва ли стоят упоминания – нынешних титулованных семейств Англии, которые могут гордиться тем, что принято называть прямым и незапятнанным происхождением по крови от норманнских рыцарей-захватчиков. После царствования Карла II все претензии на незапятнанную родословную звучат насмешкой, хотя иные евреи-старьевщики – из тех, что расхаживают с чайницей на голове, – листают первую главу из Св. Матфея в надежде открыть, что ведут свой род от царя Саула, который отошел в мир иной задолго до того, как на историческом небосклоне взошла звезда Юлия Цезаря.

Теперь же, ни слова не говоря больше о том, что в Англии до сих пор есть несчетное множество каменных стен, возведенных монархией, стен, призванных служить той опорой, которая из поколения в поколение поддерживает известные родовитые семейства, но для нас ничего подобного не предусмотрено, и нигде не найдешь ни строчки о сотнях заурядных семейств в Новой Англии, которые, однако, могут без труда перечислить всех своих предков, коренных англичан, начиная со времен Карла Пройдохи<sup>14</sup>; не говоря уже о старых и напоминающих азиатские семьях английских колонистов, живущих в Вирджинии и на Юге – например, Рэндольфы, чей предок во времена правления короля Якова I<sup>15</sup> взял в жены индейскую принцессу Покахонтас, и посему в их жилах вот уже более двухсот лет струится местная королевская кровь, – представьте, каковы древние и величественные герцогские владения этого семейства на Севере, что тянутся на мили, чьи луга занимают необозримые просторы, сравнимые с соседними странами, и которое вершит высокие деяния во имя арендной платы за счет тысячи своих фермеров-арендаторов с тех пор, как трава научилась расти, а вода – течь, и чьи намеки на то, что они, дескать, вносят своими деяниями неоценимый вклад в историю, заставили бы покраснеть бумагу. Иные из этих усадеб стоят уже более двух сотен лет; и их нынешние домовладельцы или лорды могут показать вам столбы и камни в своих владениях, которые были поставлены там – по крайней мере, камни – еще до рождения ее светлости Нелл Гвинн, герцогини-матери, и родословная которых, словно их родная река Гудзон, несет свои волны в такую же даль и столь же прямо, как течение озера Серпентайн<sup>16</sup> в Гайд-парке.

Эти бескрайние луга, принадлежащие герцогам, покоятся, окутанные легкой дымкой индейского тумана; и восточный патриархат правит в этих сонных лощинах и пастбищах, где фермерский скот будет пастись во веки веков, пока трава не перестанет расти и ручьи не пересохнут. Такие усадьбы словно бросают вызов хищному времени, они по воле случая корнями вросли в здешнюю древнюю землю и будто бы заключили полюбовную арендную сделку с вечностью. Невообразимая дерзость червя, который ползет по земле, воображая, что правит ею, словно император!

В центральных графствах Англии гордятся своими старинными столовыми из дуба, где, случись дождливый полдень, во времена Плантагенетов могли бы упражняться триста мужчин с оружием. Однако наши лорды, владельцы поместий, не интересуются прошлым, а живут одним лишь настоящим. Они станут вам убедительно доказывать, что государственная перепись населения графства не более чем часть списка их арендаторов. Цепи гор, высокие, как Бен-Невис<sup>17</sup> или Сноудон<sup>18</sup>, считают они своими крепостными стенами; и целая регулярная

---

дебютировала в пьесе Драйдена «Индийский император». Стала содержанкой придворного, Чарлза Сэквилла, что положило начало ее восхождению при дворе. Герцог Бэкингем представил ее королю, и вскоре она стала одной из фавориток и родила королю сына Чарлза, которому был пожалован титул герцога Сент-Олбанса.

<sup>14</sup> В оригинале – Charles the Blade; рискну предположить, что Мелвилл имеет в виду Карла I Стюарта.

<sup>15</sup> Яков I (англ. king James 1566–1625) – первый английский монарх из династии Стюартов.

<sup>16</sup> Серпентайн (англ. Serpentine) – небольшое (12 га) искусственное озеро, которое делит Гайд-парк на две части; имеет извилистую форму.

<sup>17</sup> Бен-Невис (гаэльск. Ben Nevis, англ. Beinn Nibheis) – гора в Шотландии в районе Хайленд. Составляет часть хребта Грампанских гор. Считается самой высокой точкой Британских островов. Высота – 1344 м.

<sup>18</sup> Сноудон (англ. Snowdon, валл. Yr Wyddfa) – самая высокая гора в Уэльсе, самая высокая гора в Великобритании.

армия, вместе со штабными офицерами, однажды форсировала реки, везя с собой с артиллерию, и маршировала по девственным лесам, и шла нескончаемыми скалистыми теснинами, посланная арестовать три тысячи фермеров, арендаторов некоего лендлорда, – арестовать всех разом. История, поразмыслив над которой приходишь к двум выводам, и оба лучше обойти молчанием.

Но что бы мы ни думали о тех богатых поместьях в самом сердце республики и сколько бы мы ни гадали, отчего они пережили, словно индейские могильные холмы, наводнение Революции<sup>19</sup>, все так же будут они стоять, уцелевшие и невредимые, только отойдут во владение к новым господам, украшенным пустыми титулами, в коих не больше цены, чем в старой отцовской шляпе любого деревенщины или в ветхом венце прядядюшки любого герцога.

Подводя итог, скажу, мы ненамного ошибемся, если выдвинем скромное предположение, что наша Америка – если она решит прославиться в этом ничтожном деле – примет совместно с Англией славное общее решение по этому маленькому, пустяковому вопросу обширных поместий и длинных родословных – я говорю о родословных, где не сыщешь порока.

#### IV

В общих чертах мы решились сделать набросок великих родословных и окостенелой фамильной гордости известных семейств Америки, поскольку так мы на языке поэзии поведаем о том роскошном и аристократическом положении, кое господин Пьер Глендиннинг занимал в обществе, в характере которого, как мы уже заметили, была некая особая фамильная черта. И продолжение истории не замедлит показать внимательному читателю, сколь важно это обстоятельство, если принять во внимание особенности домашнего воспитания и жизненный путь нашего героя, в высшей степени необычный. Ни один мужчина не допустит и мысли о том, чтобы отдать последнюю главу одной глупой браваре, не держа в уме ясной цели.

Пьер ныне вознесен на пьедестал благородства, и далее мы увидим, сможет ли он удержать свое высокое положение, далее мы увидим, не найдется ли у судьбы по крайней мере одного или двух совсем небольших, но веских возражений на сей счет. Но это вовсе не означает, что род Глендиннингов древнее, чем династии египетских фараонов, или что деяния господ из Седельных Лугов затмевают трех волхвов из Библии. Подвиги их, как мы уже успели рассказать, возвращают нас, тем не менее, во времена трех королей – вождей индейцев, только куда более благородных правителей, несмотря на все.

Но если род Пьера все же не столь древен, сколь старо правление фараонов в Египте, и если фермер-англичанин Гемпден<sup>20</sup> не держал когда-то, в некотором роде, в своих руках судьбу пращуров Глендиннингов, и если некие владельцы неких американских усадеб мнили, что их род возник на несколько лет раньше и что их уголья на несколько миль больше, то все же, спрашиваете вы, разве это возможно, чтобы молодой человек девятнадцати лет от роду задумал – просто забавы ради – расстилать по полу своей родовой аристократической гостиной снопы спелой пшеницы и затем, в той же гостиной, молотить пшеницу целом, да так, что лихой свист этого цепа было бы слышно по всей усадьбе; разве нет вероятности, что такой молотильщик зерна, рассыпающий пшеничные колосья по полу собственной родовой аристо-

---

Высота – 1085 м.

<sup>19</sup> Мелвилл имеет в виду Войну за независимость.

<sup>20</sup> Гемпден, Джон (англ. Hampden 1595–1643) – английский национальный герой и патриот. Стоял у истоков Английской революции XVII века (Английской гражданской войны), оппозиционный политик, входил в число тех членов парламента, которые резко выступали против Карла I. Умер от ран в битве с королевскими солдатами на Чалгроув Филд – похоже, Мелвилл проводит насмешливую аналогию с дедом Пьера, генералом Глендиннингом, который погиб в похожей схватке, и намекает на разницу в положении: неродовитый Гемпден известен всему миру, его имя звучит на уроках истории, а родовитый Глендиннинг известен лишь небольшой кучке людей в сельской усадьбе, затерянной на просторах Америки.

кратической гостиной, не ощутит, по крайней мере, один или два укола того чувства, которое можно назвать оскорбленной дворянской гордостью? Конечно нет.

Или, по вашему мнению, могло ли все сложиться иначе для нашего молодого Пьера, если каждое утро, спускаясь к завтраку, он непременно цеплял взглядом то одни, то другие старые изорванные британские боевые знамена, кои свисали с арочных окон в холле, – знамена, что были взяты его дедом, генералом, в честном бою? Или, по вашему мнению, могло ли все сложиться иначе, если каждый раз, слыша, как играет деревенский оркестр военного ансамбля, он ясно различал гулкий голос британских литавр, также захваченных его дедом в честном бою и впоследствии удачно добавленных к духовому оркестру и дарованных артиллерийскому корпусу Седельных Лугов? Или, по вашему мнению, могло ли все сложиться иначе, если порой в кроткое и безмятежное утро Четвертого июля<sup>21</sup> в деревне, гуляя по саду, он проходил через парадный строй тростника с длинным величавым скипетром с серебряным наконечником – жезлом генерал-майора, которым тот когда-то помавал, командуя на военном параде, где склонялись плюмажи и вспыхивали мушкетные выстрелы по распоряжению его родного деда, того самого, о котором мы не раз уже заводили речь? Конечно, соображаясь с тем, что Пьер был еще очень юным и не склонным к длительным серьезным размышлениям, да к тому же, можно сказать, голубых кровей, и тем, что время от времени он перечитывал историю Войны за независимость, и имел мать, которая не упускала случая, чтобы косвенно не помянуть в каком-нибудь светском разговоре о воинском звании генерал-майора, что некогда носил его дед... конечно, что там и говорить, неудивительно, что тот вид, который он считал своим долгом принимать, был очень гордый, победный вид. И если такие наклонности покажутся слишком нежными и глупыми для характера Пьера, и если вы скажете мне, что подобные свойства натуры аттестуют его как отнюдь не безупречного демократа и что истинно благородный человек никогда не станет гордиться ничьими подвигами, кроме своих, тогда я вновь умоляю вас вспомнить о том, что в те времена наш Пьер был еще совсем мальчишкой. И поверьте мне, настанет час, когда вы провозгласите Пьера самым радикальным из всех демократов – возможно, даже слишком радикальным, на ваш взгляд.

В заключение не порицайте меня, если я здесь повторяюсь и дословно процитирую свои же собственные слова, сказав, что *наилучшей судьбой для Пьера было появиться на свет и расти в деревне*. Ибо для молодого человека, американского дворянина, такая судьба и в самом деле – больше, чем в любой другой стране, – поистине редкий и наилучший удел. Как уже не раз было замечено, пока в других странах самые знатные семьи с гордостью называют деревню своим домом, нашим дворянам более привычно гордо называть таковым домом город. Слишком часто тот американец, который сам нажил состояние, обязательно воздвигает большой внушительный особняк на самой большой улице самого большого города. А европеец с тем же достатком непременно поселится в деревне. И потому европеец окажется в несравненно более счастливой среде, чего не станут отрицать ни поэт, ни философ, ни аристократ. Известно, что природа деревни не только настраивает человека на самый поэтический и философический лад, но что также это наиболее пригодные для аристократии декорации на всем белом свете, поскольку они самые древние, и великое множество поэтов бесчисленное количество раз венчало ее на царство под сотней пышных титулов. Город всегда был довольно-таки плебейским местом для проживания, чья истинная наружность, помимо прочего, яснее всего отражалась в каком-нибудь грязном немывом лице, бесконечно изможденном тяготами городской жизни; но деревня, как и любая королева, которой прислуживают добросовестные камеристки, всегда наряжена в одеяния по сезону, и у города есть всего одно платье из кирпича, подшитого камнем, но у деревни найдется прекрасный убор для каждой недели в году, и порой она меняет его двадцать четыре раза в двадцать четыре часа, и деревня днем радуется своим солнцем, сия-

<sup>21</sup> День независимости – национальный праздник в США.

ющим, словно бриллиант на челе королевы, и ночные звезды у ней – как ожерелье из золотых бус, тогда как городское солнце – дымный страж, а отнюдь не бриллиант, и городские звезды – фальшивая бижутерия, а отнюдь не золото.

Итак, природа взрастила нашего Пьера в деревне, ибо природа сулила Пьеру необычайные и головокружительные горизонты. Не имеет значения, что так она выставила себя перед ним в двусмысленном свете под самый конец, как бы то ни было, в начале-то она поступила прекрасно. Она трубила в пастуший рог с голубых холмов, и Пьер выкрикивал вслух поэтические строфы, которые звучали как трубный глас – так боевой конь бьет копытом в восторженном упоении. Она вздыхала в рощах среди густой листвы по вечерам, и вкрадчивый шепот о человеколюбии и нежный шепот о любви вплетался в мысли Пьера, приятно журчал, как говор ручья, бегущего по камням. Она надевала по ночам блестящий шлем, густо усеянный звездами, и вслед за появлением на небе их божественной Царицы и Владычицы десять тысяч воинственных мыслей о героизме бряцали оружием в душе Пьера, и он смотрел кругом в поисках попорченного благого дела, чтобы встать на его защиту.

Одним словом, деревня была сущим благословением для молодого Пьера; и далее мы увидим, покинет ли его это благословение, как оно покинуло древних иудеев; далее мы увидим, вновь говорю я, не найдется ли у Судьбы по крайней мере одного или двух совсем небольших, но веских возражений на сей счет; далее мы увидим, не будет ли здесь уместно одно небольшое скромное латинское изречение – *Nemo contra Deum nisi Deus ipse*<sup>22</sup>.

## V

– Сестрица Мэри, – сказал Пьер, когда вернулся со своей утренней прогулки, и легонько постучался в дверь спальни матери, – знаете ли вы, сестрица Мэри, что деревья, которые бодрствовали всю ночь, сейчас вновь выстроились этим погожим утром перед вашим окном?.. Чувствуете ли вы запах кофе, сестра моя?

Легкие шаги послышались внутри спальни и проследовали к двери, которая отворилась, открывая миссис Глендиннинг в атласном утреннем халате, с широкой яркой лентой в руке.

– Доброе утро, мадам, – вымолвил Пьер с поклоном, в коем сквозило одно искреннее и неподдельное почтение, что занятым образом не вязалось с его прежним игривым к ней обращением, – вот каким любящим и обходительным было проявление его чувств, источником коих было глубочайшее сыновнее уважение.

– Добрый день, Пьер, так как, думаю, уже настал день. Но входи, ты сможешь завершить мой туалет... входи, брат. – Мэри Глендиннинг протянула ему ленту. – Теперь смелее за дело, – велела она и, усевшись против зеркал, ожидала, что Пьер заботливо поможет ей нарядиться.

– Первая камеристка к услугам вдовствующей герцогини Глендиннинг, – ответил Пьер, смеясь, и с той же грацией, с коей кланялся матери, он обернул ленту вокруг ее шеи, соединив концы впереди.

– Так, но чем ты скрепишь их вместе, Пьер?

– Я собираюсь закрепить их поцелуем, сестричка, вот сюда!.. О, право, жалко, что такие фермуары не всегда удержат!.. Где та камея с оленятами, что я вам подарил вчера вечером?.. А! на туалетном столике – вы собираетесь ее надеть нынче?.. Благодарю вас, вы самая внимательная и тактичная сестра... вот так!.. Но постойте, здесь локон, он выбился... так, теперь, дорогая сестра, вознаградите мои старания вашим ассирийским кивком.

Надменная мать не спеша поднялась со своего места, скрывая счастливый блеск в глазах, и, пока она стояла перед зеркалами, критическим оком взирая на плоды его трудов, Пьер, заметив распутившиеся ленты банта на ее туфельке, преклонил колени и завязал его.

<sup>22</sup> Никто против Бога – только сам Бог (лат.).

– Теперь идемте пить кофе! – воскликнул он. – Мадам!

С веселой учтивостью Пьер предложил руку матери, и пара спустилась к завтраку.

Миссис Глендиннинг неизменно следовала одному из тех правил, которые усваиваются посредством интуиции, коей женщины порой повинуются, не раздумывая: никогда не выходить к сыну в дезабилье, которое можно было бы счесть хоть в чем-то неподобающим. Она сама немало наблюдала жизнь, и опыт открыл ей море обычных уловок, которые, правда, на поверку оказывались совершенно бессильными, если на них никак не реагировали. Ей было превосходно известно, сколь велика такая власть, когда даже и в самых тесных сердечных отношениях простейшей видимости дано компенсировать нехватку ума. И так как та пылкая любовь и старосветская обходительность, которые выказывал матери Пьер, доставляли ей величайшую радость в жизни, то она не пренебрегала ни единой мелочью, что могла бы, возможно более упрочить столь приятную и лестную для нее привязанность.

В придачу ко всему миссис Глендиннинг была в первую очередь женщиной, и притом женщиной, одаренной куда большим женским тщеславием, чем его отпущено особам заурядным – если только ее чутье можно назвать тщеславием, – почти пятьдесят весен пронеслось над ее головой, а это чутье и единожды не допустило ее до такого ложного шага, что привел бы к широкой огласке, или дало ей повод хотя бы раз испытать острую сердечную боль. Более того, она никогда не заботилась о том, чтобы вызвать восхищение окружающих, поскольку таково было неотъемлемое ее право, беспроегрышное преимущество неизменной красоты, коей она всегда обладала, ради чего она не пошевелила и пальцем, так как повсюду ее неизменно окружали поклонники. Тщеславие, которое у стольких женщин становится духовной червоточинной, а чрез то – осязаемым злом, в ее частном случае – хотя она и обладала тщеславием в превосходной степени – было все же приметой величайшего ее благополучия, и, поскольку она никогда не знала, каково это, томиться мечтой о счастье, то ей и в голову не приходило, что она им обладает. Многие женщины шествуют по жизни, неся этот свет души своей, как яркую печать, пламенеющую на лбу, но Мэри Глендиннинг, сама того не ведая, таила его внутри. При помощи бездны женских уловок, хитросплетенных, как ажурные кружева, она излучала ровный свет, как сосуд, в коем всегда мерцает спокойный огонь, не дающий наружу ни малейшей вспышки, и кажется, что сияет он только благодаря чистоте самого благородного мрамора. Но тот дурман восторженных похвал, расточаемых всеми наперебой, коим довольствуются иные светские женщины, не был предметом желаний матери Пьера. Не поклонение всех мужчин без разбору, но служение избранных, благороднейших мужчин – вот что, она чувствовала, ей истинно подобало. И поскольку ее слепая материнская любовь была склонна преувеличивать и приукрашивать редкие и исключительные достоинства Пьера, она избрала бескорыстную преданную любовь его пылкой души нести счастливую службу лучшего кавалера, коего предпочли всем прочим благородным поклонникам, добивавшимся той же чести. Так, хотя по жилам ее бежал ток первоклассного тщеславия, она с той скромностью, что паче гордыни, довольствовалась служением ей одного лишь Пьера.

Но, будучи женщиной разумной и сильной духом, служение даже самого благородного и самого одаренного мужчины она почитала за ничто, если только не была уверена, что может оказывать на него косвенное влияние и что ее чары прочно опутали его душу; и хотя Пьер был умнее своей матери во сто крат, он, однако же, по неизбежной слабости неопытного и недалекого молодого человека на диво послушно следовал материнским советам почти в каждом деле, что сколько-нибудь интересовало или волновало его, потому-то пылкое служение Пьера было для Мэри Глендиннинг неиссякаемым источником всех радостей, какие только может испытывать удовлетворенная гордость, и пищей для ее самодовольства, которое было бы более к лицу юной дебютантке – покорительнице сердец. Более того, сей неведомый и бесконечно тонкий аромат несказанной нежности и заботы, кои в каждой безупречной и благородной привязанности шествуют рука об руку с ухаживанием и предваряют торжественное объявление о

предстоящем бракосочетании и саму церемонию, но который, словно *букет* самого дорогого немецкого вина, мигом улетучивается, если пристраститься его пить и смотреть на все сквозь призму разочарования супружеских дней и ночей; эти отношения, самого светского и пустого толка, если верить опыту всей нашей жизни на этом свете, голубиная чистота этих уз, кои для сына были поистине священными, – все это Мэри Глендиннинг, ныне стоящая на пороге большого климакса, видела чудесным образом расцветшим в светски обходительном, как у кавалера прежних дней, ухаживании Пьера.

Вместе с тем ее уменье пленять сердца, коим она обязана была тому счастливому, но совершенно необъяснимому стечению самых благоприятных и необыкновенных обстоятельств, посредством коих ей довелось появиться на свет с серебряной ложкой во рту, и потому еще, что время не теснило ее больше по милости наступившего климакса, который может стать смертельным ядом для заурядной страсти, власти этих слабеющих чар, которые пока радостно кружили мать и сына на одной орбите, казалось, приходило на смену то славное время, когда даже самая сильная привязанность, коя довлеет над нами в пору расцвета любви, способна без конца распадаться на мириады не столь глубоких чувств нашей довольно пестрой жизни. Если взглянуть на все открытым и беспристрастным взором, то может показаться, будто на нашей грешной земле и впрямь претворились в жизнь заветные мечты тех религиозных фанатиков, кои горазды рассказывать нам о Рае, что-вот настанет, и тогда самая благочестивая любовь человеческая, коя стала уже едва заметной под спудом разнородного мусора и шлака, воссияет, соединяя всех родных и близких узами непорочной и нескончаемой радости.

## VI

Имелась одна незначительная прозаическая черта, которая в глазах иных могла повредить романтическому облику благородного Пьера Глендиннинга. Ему всегда был свойствен превосходный аппетит, который сильнее всего давал о себе знать за завтраком. Но когда мы узнаем про то, что руки Пьера хоть и были маленькими, а манжеты – белоснежными, но эти руки никак нельзя было назвать изнеженными, и про то, что лицо его покрывал легкий загар, и про то, что чаще всего вставал он с восходом солнца, и про то, что не мог уснуть, если не совершил днем своей обычной пешей прогулки в двенадцать миль или конной – все двадцать, или не повалил с топором в руках какой-то неохватной тсуги в своих лесах, или не побоксировал, или не поупражнялся в фехтовании, или не поработал веслом, занимаясь греблей, или не проделал какой-нибудь новый гимнастический трюк; когда мы узнаем об этих, привычных Пьеру занятиях спортом; когда мы увидим ту гору мышц и мускулов, какой было его тело, каждая мышца и мускул коего по три раза на дню заявляли о себе громким урчанием в животе, мы тотчас же признаем, что в его большом аппетите не только нет ничего вульгарного, но что такой аппетит воистину благодать божья и делает Пьеру честь, доказывает, что он мужчина и джентльмен, ибо истинно благородный джентльмен всегда силен и здоров, а сила и здоровье всегда славились своим обжорством.

Так, когда Пьер и его мать спустились к завтраку, Пьер добросовестно проследил за тем, чтоб для нее были созданы все удобства, какие только можно было измыслить, и дважды или трижды приказывал почтенному старому Дэйтсу, слуге, закрыть то на тот, то на этот манер оконные створки, чтобы ни один злонамеренный сквозняк не позволил себе неподобающих вольностей, касаясь шеи его матери, после чего он сам все осмотрел, но уже спокойно и незаметно, и затем приказал невозмутимому Дэйтсу повернуть под определенным углом, ближе к свету, картину недурного вкуса, жизнерадостную, писанную в добропорядочном фламандском стиле (коя крепилась к стене таким образом, что вполне годилась на подобные перемещения), и в довершение всего обратил несколько раз вдохновенный взор с того места, где он сидел, на заливные луга к голубым горам вдаль. Пьер подал масонского рода, таинственный знак

превосходному Дэйтсу, который, повинувшись с механической покорностью, перенес со старого резного сервировочного столика холодный пирог, очень пышный с виду, что, будучи аккуратно разрезан ножом, обнажил аппетитную начинку из нескольких нежнейших голубей, подстреленных лично Пьером.

– Сестрица Мэри, – сказал он, поддевая серебряными сервировочными щипцами лучшую порцию вкуснейшего голубиноного мяса. – Сестрица Мэри, – повторил он, – стреляя этих голубей, я был очень осторожен, целясь таким образом, чтобы не попортить им грудку. Старался угодить вам – только и всего. Ну, сержант Дэйтс, помоги-ка мне наполнить тарелку твоей госпожи. Нет?.. Ничего, кроме маленьких французских булочек и глотка кофе... разве это завтрак для дочери вон того храброго генерала? – Он указал на портрет своего деда в золотых галунах на противоположной стене. – Ну что ж, плохи, стало быть, мои дела, раз я завтракаю за нас обоих. Дэйтс!

– Сэр.

– Придвинь ко мне то блюдо с тостами, Дэйтс, и это блюдо с языками, перенеси булочки ближе и откати столик подальше, добрый Дэйтс.

Большая часть всех яств перекочевала на стол к Пьеру, и тот начал работать вилкой, порой отвлекаясь от еды, чтобы отпустить какое-нибудь остроумное замечание.

– Сдается мне, этим утром ты оживлен не в меру, брат мой Пьер, – молвила его мать.

– Да, я в духе сегодня; по крайней мере, не могу сказать, что я чем-то удручен, сестрица Мэри... Дэйтс, мой славный мальй, принеси три бутылки молока...

– Вы имели в виду, сэр, одну бутылку, – отозвался Дэйтс мрачно и невозмутимо.

Как только слуга покинул комнату, миссис Глендиннинг заговорила:

– Мой дорогой Пьер, как часто я умоляла тебя: не позволяй никогда жизнерадостности увлечь себя настолько, чтоб перейти известную грань приличия в общении со слугами. Взгляд Дэйтса только что был тебе почтительным укором. Ты не должен называть Дэйтса *мой славный мальй*. Он действительно славный, очень славный мальй, но нет никакой нужды сообщать ему об этом за моим столом. Совсем несложно проявлять исключительную доброту и благонаравие, обращаясь к слугам, не допуская при этом ни малейшего намека на легчайшую тень мимолетной фамильярности.

– Что ж, сестра, вне сомнения, ты совершенно права; тогда я опущу слово *славный* и буду звать Дэйтса просто *мальй*: «Мальй, пойдй сюда!» Как тебе это нравится?

– Вовсе нет, Пьер, но ты ведь Ромео, и поэтому на сегодня я прощаю тебе этот вздор.

– Ромео! О, нет! Я далек от того, чтобы быть Ромео... – вздохнул Пьер. – Я смеюсь, а он плакал, бедный Ромео! Увы, Ромео! О горе, Ромео! Он кончил весьма скверно, сестрица Мэри.

– Но это была его собственная вина.

– Бедный Ромео!

– Он ослушался своих родителей.

– Увы, Ромео!

– Он женился наперекор их мудрому выбору.

– Горе тебе, Ромео!

– Но ты, Пьер, ты возьмешь в жены, я надеюсь, не Капулетти, но одну из наших Монтекки, и потому горький жребий Ромео минует тебя. Ты будешь счастлив.

– О, несчастный Ромео!

– Не будь глупым, Пьер, брат; стало быть, ты намерен взять Люси в долгую прогулку по холмам этим утром? Она миленькая девушка, прелестней всех.

– Да, и это больше мое мнение, Мэри, сестра... Клянусь Небесами, матушка, в пяти графствах не найдется такой другой! Она... да... хотя признаюсь... Дэйтс!.. Он чертовски долго несет это молоко!..

– И пусть... Не будь тряпкой, Пьер!..

– Ха! Моя сестра немного сатирична этим утром. Понимаю...

– Никогда не болтай чепухи, Пьер, и никогда не пустословь. Никогда я не слышала от твоего отца ни того, ни другого, то же писали и о Сократе, а они оба были очень мудрыми людьми. Твой отец был сильно влюблен – я знаю это совершенно точно, – но я никогда не слышала, чтоб он напыщенно разглагольствовал об этом. Он всегда вел себя так, как подобает джентльмену, а джентльмен никогда не несет вздора. Тряпки и простачи болтают вздор, а джентльмены – никогда.

– Благодарю вас, сестра... Поставьте это сюда, Дэйтс; лошади готовы?

– Их уже водят по кругу, сэр.

– Боже, Пьер, – сказала его мать, выглядывая из окна, – неужели ты собрался ехать в Санта-Фе-Де-Боготу в этом огромном старом фаэтоне; почему ты выбрал эту Джаггернаутову колесницу?<sup>23</sup>

– Причуда, сестра, причуда, мне она нравится своей старомодностью и покойными, как диван, сиденьями, да и потому, наконец, что юная леди по имени Люси Тартан возлагает на нее большие надежды. Она дала обет выйти замуж в ней.

– Что ж, Пьер, все, что я могу сказать, – проверь, чтобы Кристофер положил кузнечный молот и гвозди и много веревок и шурупов в ящик. И лучше позволь ему сопровождать тебя в одной из фермерских повозок с запасными осями и несколькими досками.

– Без паники, сестра, без паники... Я буду возможно больше беречь старый фаэтон. Замысловатые древние гербы на дверцах всегда напоминают мне о том, кто первым в нем ездил.

– Я рада, что ты об этом помнишь, Пьер, брат мой.

– И о том, кто был тем *следующим*, что ездил в нем.

– Да будь ты благословен!.. Благослови тебя Бог, дорогой мой сын!.. Всегда о нем думай, и ты никогда не поступишь дурно; да еще всегда помни о своем дорогом превосходном отце, Пьер.

– Хорошо, тогда поцелуй меня, дорогая сестра, потому что я должен идти.

– Ну, а теперь ты меня целуй – вот моя щека, а это щека Люси; правда, теперь, когда я смотрю на обе, ее мне кажется самой цветущей – сладчайшая роса ее освежала, сдается мне.

Пьер рассмеялся и выбежал из комнаты, поскольку старый Кристофер начал терять терпение. Его мать стала у окна, провожая сына взглядом.

– Благородный мальчик и послушный, – пробормотала она. – У него есть вся резвость юности, но малая толика ее обычной взбалмошности. И он не растет тщеславным, коснея в невежестве, среди недорослей. Хвала Небесам, я не отослала его в университет. Благородный мальчик и послушный. Милый, гордый, любящий, послушный, сильный мальчик. Молю Бога, чтоб он никогда не переменился ко мне. Будущая женушка не заставит его отдалиться от меня, ведь и сама она столь послушна – красивая, почтительная и весьма послушная. Очень редко доводилось мне видеть, чтоб особы с такими голубыми глазками, как у нее, не были послушны и не ходили по пятам за смелыми черными глазами, как две кроткие овечки с голубыми ленточками, что следуют за своим воинственным вожаком. Как рада я, что Пьер полюбил именно ее, а не какую-то темноглазую гордячку, с которой я никогда не смогла бы жить в мире, разве бы допустила я когда-нибудь, чтоб она, по своему статусу молодой жены, смела главенствовать

---

<sup>23</sup> Джаггернаут (*англ.* Juggernaut; Джаяннатха, санскр. Jagannatha, «Владыка Вселенной») – индийское божество, которому поклоняются вместе с его братом Баларамой и сестрой Субхадрой; почитатели поклоняются им в виде массивных деревянных истуканов, которые в дни праздника Ратха-ятра выносят из храма и устанавливают на гигантских разукрашенных колесницах, что влекут по городу. Раньше верующие бросались под колеса этих колесниц, поскольку верили, что погибшие таким образом возрождались в духовном мире. На первых европейцев, что увидели праздник Ратха-ятра, колесница Джаяннатхи произвела мрачное впечатление, и Джаггернаутовой колесницей стали называть действие любой слепой силы, которая давит все живое на своем пути.

надо мной, старшей и вдовой, и вытеснила меня из сердца моего дорогого мальчика – милого, гордого, любящего, послушного, сильного мальчика!.. Моего великодушного, чудесного, благородного мальчика, который повинуется мне с такой любовью! Взгляните на его волосы! Он и впрямь живой пример прекрасных слов своего отца, что жеребенка благороднейших кровей узнают по трем статьям: густой гриве, выпуклой груди и доброму послушанию – это подойдет и для прелестной женщины, и для благородного юноши. Что ж, до свиданья, Пьер, и доброго утра тебе!

С этими словами Мэри Глендиннинг пересекла комнату, и тут ее счастливый, гордый взор наткнулся на старый генеральский жезл, забытый в углу, что днем раньше Пьер для одной из своих проказ стащил с его законного места в украшенном картинами и знаменами холле. Она подняла жезл и мечтательно взмахнула ним из стороны в сторону, затем, помедлив, задумалась, сжимая его в руке. Ее величественная красота всегда была несколько воинственной, и теперь она казалась дочерью боевого генерала, каковой и была, ибо в жилах Пьера текла вдвойне мятежная кровь. По обеим линиям он происходил от героев.

– Вот его наследие – сей символ власти! И я его вздымаю, находясь во власти своих дум. Только что я тешила себя мыслью, что Пьер столь на диво послушен! Но тут кроется, несомненно, самое странное несовпадение! Разве кроткое послушание отличает генерала? И сей жезл тогда не более чем ручная прялка?.. Тут что-то явно не так. Теперь я почти желаю, чтобы он не был со мной мягким и послушным, ибо вижу, что мужчине тяжело жить жизнью бесстрашного героя и командовать людьми и при этом хоть иногда забывать свою роль дома. Молю Небеса, чтоб он геройствовал на какой-нибудь ровной дороге благосклонной судьбы и не накликал на себя участие в некоем мрачном, смертельном подвиге – некоем мрачном, смертельном подвиге, жестокость коего учит мужчину быть беспощадным. Даруй ему, о Господи, слабые штормы! Даруй ему долгое благополучие! Пусть он всегда и во всем меня слушается и при этом останется гордым героем для остального мира!

## Глава II

# ЛЮБОВЬ, РАДОСТЬ И СМЯТЕНИЕ

### I

Прошлым вечером Пьер и Люси вместе составили извилистый маршрут долгой прогулки среди холмов, которые тянулись к югу вплоть до широких равнин Седельных Лугов.

Несмотря на то что почтенному экипажу шел шестой десяток, его везли молодые шестилетние жеребцы. В упряжке старого фаэтона на его веку сменилось несколько поколений лошадей.

Пьер резко свернул у деревенских вязов и вскоре остановил фаэтон перед белой дверью коттеджа. Бросив поводья наземь, он вошел в дом. Два молодых скакуна были его давними и близкими друзьями, кои появились на свет в том же графстве и были вскормлены той же кукурузой, индейские лепешки из коей Пьер и сам нередко едал на завтрак. Один и тот же родник, вода коего шла по трубе к их стойлам, струясь по другой, наполнял кувшин Пьера. Они были, пожалуй, словно Пьеровы кузены, живущие с ним по соседству, эти молодые скакуны, и притом холеные юные кузены, заправские щеголи, кои красовались своими пышными гривами и широкой поступью, но без примеси тщеславия или высокомерия. Они признавали Пьера бесспорным главой дома Глендиннинггов. Они хорошо знали, что они младшие и двоюродные отпрыски Глендиннинггов, связанные узами бесконечной вассальной преданности признанному наследнику родового имени. Вот почему юные кузены никогда не позволяли себе дичиться Пьера; если они и были нетерпеливы в своей поступи, то отличались безграничным терпением при остановках. При этом они были также очень резвы и добры, как котята.

– Боже мой, как ты позволяешь им стоять вот так самим, Пьер, – всплеснула руками Люси, когда они с Пьером вышли из коттеджа и Пьер нес шали, зонтики, сумочки и маленькую корзинку со снедью для пикника.

– Постой-ка, – звонко крикнул Пьер, уронив наземь всю свою поклажу, – я покажу тебе, каковы мои скакуны.

Сказавши это, он обратился к лошадям тихим голосом, запряг их и погладил каждого. Жеребцы заржали; ближайший из них ржал немного ревниво, словно Пьер гладил не всех одинаково. Затем с низким, долгим, почти неслышным свистом Пьер пробрался между жеребцами, внутрь упряжки. Тут Люси замерла и стала тихонько плакать, но Пьер велел ей немедленно прекратить, так как опасности не было ни малейшей. И Люси вмиг притихла, ибо, хоть она и пугалась всегда, когда Пьер играл с огнем, но в глубине души уповала на то, что Пьер неуязвим и что ни одна опасность на свете ему не грозит, пока она с ним рядом, или, иными словами, что ни единый волос не падет с его головы, покуда она находится поблизости, пусть даже на расстоянии в тысячу лиг.

Пьер, стоя между лошадьми, наступил на дышло фаэтона, затем сошел вниз – и вдруг исчез... или скорее стал неясно различим в живой колоннаде из восьми стройных и гладких лошадиных ног. Он вошел в эту колоннаду с одной стороны, немного попетлял в ней, затем вышел наружу с другой; и все время, пока длилось сие конное представление, оба жеребца весело ржали и дружелюбно кивали и порой посматривали на Люси сбоку, словно говоря: «Мы понимаем юного мастера, мы понимаем его, мисс, отбросьте ваши страхи, прекрасная дама, ну, ей-богу, успокойте ваше милое сердечко, мы совсем чуть-чуть поиграем с Пьером, вы и глазом моргнуть не успеете».

– Будешь ты теперь бояться, что они убегут, Люси? – спросил Пьер, поворачиваясь к ней.

– Только немножко, Пьер. Прекрасные ребята! Боже, Пьер, они сделали тебя офицером – взгляни! – И Люси указала на два клочка пены, кои лежали на его плечах, словно эполеты. – Я вновь говорю: брависсимо! Я назвала тебя своим солдатом, когда мы расстались этим утром у моего окна, и вот тебя повысили.

– Очень лестная ремарка, Люси. Но смотри, ты не похвалила их мундиры. Они носят не что иное, как лучший гемуэзский бархат, Люси. Взгляни! Ты видела когда-нибудь еще таких же холеных лошадей?

– Никогда!

– Тогда что ты скажешь, если они будут моими шаферами, Люси? Славные шаферы из них выйдут, ручаюсь. Им вплетут сто ярдов белых лент в гривы и хвосты; и когда они повежут нас в церковь, то станут весь путь рассыпать изо рта клочки белого кружева, как они это проделали сейчас, со мной. Я сделаю их шаферами, ей-богу, Люси. Легкокрылые орлы! Игривые псы! Герои, Люси. Откажемся от свадебных колокольчиков – пусть они заливаются ржанием для нас, Люси; нам следует обвенчаться под тот свадебный марш, который исполнят нам эти кроткие, как Иов, взмыленные кони, Люси. Послушай-ка! Они заливаются ржанием, стоит только завести об этом речь.

– Отвечают ржанием на твои поэтические бредни, Пьер. Скорее, давай уже выедем наконец. Итак, шаль, зонтик от солнца, корзина: почему ты от них глаз не можешь отвести?

– Я размышлял, Люси, о том плачевном состоянии, в коем сейчас пребываю. И шести месяцев не прошло с тех пор, как я видел одного несчастного помолвленного малого, своего старого приятеля, у которого были долгие прогулки со своей Люси Тартан, он нес узлы и корзины в каждой руке, и я говорил себе: «Только полюбуйтесь на этого вьючного осла – бедолага, он влюблен». И взгляни на меня сейчас! Ну что ж, говорят, жизнь есть бремя – так почему бы не нести его с бодростью? Но смотри, Люси, я собираюсь сделать заявление по всей форме и всерьез протестовать, прежде чем наши дела зайдут дальше. Когда мы обвенчаемся, я не возьмусь нести ни один узел, пока не возникнет в том крайняя нужда, и более того, когда какая-то юная леди из наших знакомых появится на горизонте, я не желаю напрасно задерживаться и заново навьючивать на себя все узлы им в назидание.

– Теперь я по-настоящему на тебя сержусь, Пьер, – впервые слышу из твоих уст такие злобные двусмысленные выпады. Где ты видишь вокруг хоть одну мою знакомую юную леди, ну, отвечай?

– Шестеро из них – прямо там, – сказал Пьер. – Но они скрываются за занавесками. Никогда не доверял пустынности ваших деревенских улиц, Люси. Меткие стрелки притаились за каждым забором, Люси.

– Молю тебя, дорогой Пьер, давай уже поедем!

## II

Между тем, пока Пьер и Люси проезжают под сенью вязов, позвольте поведать вам о том, кто же была Люси Тартан. Нет нужды говорить, что она красавица, поскольку темнокудрый и румяный юноша, такой как Пьер Глендиннинг, редко влюбляется не в красавицу. Во всех грядущих эпохах им суждено быть – так же как в наши дни, так же как и в седую древность – красивыми мужчинами и обворожительными женщинами; и может ли иначе быть, если еще исстари повелось, что красавцы женятся на красавицах!

Но хотя благодаря известным стараниям матери-природы на земле всегда есть красивые женщины, свет еще не видел другой Люси Тартан. Ее щечки были нежнейшие, тона крови с молоком, молочного было больше. Ее глаза казались небесными звездами, принесенными на землю неведомым богом; ее волосы – кудрями Данаи, сияющими после золотого дождя Юпитера; ее зубки – жемчугами с берегов Персидского залива.

Обратим пристальный взор на тех, кто устало плетется, сбив себе ноги на тернистом жизненном пути и на ком тяжкий труд и бедность оставили свою уродливую печать; если такому бедняку случится увидеть когда-нибудь прекрасную и милосердную дочь богов, коя, спустившись с заоблачных высот красоты и богатства, пройдет мимо него легким шагом, сияя от счастья и гордая благополучием, как он будет поражен, что в мире, преисполненном злом и стольких страданий, есть еще место этой сияющей грезе из рая. Ибо любая красивая женщина чувствует себя гостьей из дальних краев. Другие особы женского пола всегда рады назвать ее чужестранкой. Женский рой неотступно наблюдает за дивной красавицей, стоит ей переступить порог, словно за птицей фениксом, что влетела к ним в окно. Что ни говорите, их зависть, как и любая, не что иное, как послед неприкрытого восхищения. Разве мужчины завидуют богам? И разве женщины завидуют богиням? Красавица рождается королевой, царящей равно над мужчинами и женщинами, как Мэри Стюарт была королевой для любого шотландца, будь то мужчина или женщина. Все человечество – ее шотландцы; верные ей кланы исчисляются нациями. Истинный джентльмен из Кентукки охотно отдаст жизнь за красавицу из Индостана, даже если он никогда ее не видел. Да, его сердце изойдет кровью ради нее, и он отправится к Плутону, чтобы она смогла подняться на Небеса. Он скорее примет ислам, чем отречется от своей верности, коя присуща всем джентльменам с той поры, как их Великий Мастер, Адам, склонил колено перед Евой.

Невзрачная королева Испании не пожинает и половины тех лавров, что выпадают на долю хорошенькой модистки. Ее солдаты могут разбивать чьи-то головы, но Ее Величество не может разбить ничье сердце, а хорошенькая модистка может носить мириады покоренных сердец, как ожерелье из драгоценных камней. Несомненно, благодаря красоте возшла на трон первая королева. Если когда-нибудь вновь встанет вопрос о престолонаследии Германской империи и один жалкий горе-адвокат будет защищать интересы любой несравненной красавицы, что первой попадетсся ему на глаза, она будет единогласно избрана императрицей Священной Римской империи германской нации, то есть в том случае, если все немцы обратились бы в правдивых, чистосердечных и благородных джентльменов, способных принять для себя столь великую честь.

Это вздор – говорить о Франции как о родине всеобщей галантности. Разве нет у этих язычников-франков их Салического закона?<sup>24</sup> Трех самым обворожительным созданиям – бессмертным цветам дома Валуа – было отказано во французском троне из-за этого бесславного обычая. Франция! Где миллионы католиков все еще чтут Деву Марию, Царицу Небесную и на протяжении десяти поколений отказываются снять шляпу и склониться перед множеством ангелоподобных Марий, законных владычиц Франции. Вот где кроется причина мировой войны. Только взгляните, с какой подлостью народы – точно так же, как иные мужи, – прибирают к рукам и носят самое лучшее звание, не вызывая ни у кого возражений, пусть даже получили его вовсе без всяких заслуг. Американцы, а не французы – вот кто образец галантности для всего мира. Наш Салический закон предписывает воздавать должное всем без исключения красавицам. Малейшая их прихоть весомее всех человеческих законов, писанных и неписанных. Если вы купили лучшее место в карете после того, как потолковали с доктором о жизни и смерти, то вы с готовностью откажетесь от этого самого места и захромаете прочь пешком, стоит путешествующей красавице шевельнуть пальчиком у дверей на постоялом дворе.

Ну, коли уж мы начали с разговора о некой молодой леди, которая отправилась на прогулку в фаэтоне в обществе некоего молодого человека, и опомнились уже тогда, как изрядно провели самих себя за нос и стали как вкопанные у окна на постоялом дворе, – все это может

<sup>24</sup> Салический закон (у Мелвилла *Salique Law*, *лат.* *Lex Salica*) – древнейший закон, принятый в VI в., в царствование Хлодвига I, гласил, что родовые владения могут наследовать лишь отпрыски мужского пола, что распространялось также и на престолонаследие в империи франков. В русских источниках называется также Салической Правдой.

показаться весьма беспорядочным стилем письма. Но куда же еще должна привести нас Люси Тартан, как не к могущественным королевам и прочим августейшим особам, и, наконец, заставить нас пуститься в странствия, чтоб посмотреть, есть ли кто на белом свете, достойный взять в жены такую чудную красавицу. Следуя давней традиции, разве не должен я славить свою Люси Тартан? Кто станет меня останавливать? Разве не обручена она с моим героем? Что тут возразить? Где под покровом ночи почивает еще одна такая же?

И потом, как Люси Тартан смутилась бы от всего этого шума и гама! Ею гордятся, но она не гордячка. До сих пор она так же спокойно скользила по течению жизни, как пух отцветшего чертополоха плывет, подгоняемый ветерком, над луговыми травами. Бывало, не вымолвит ни словечка, если Пьера рядом нет; и даже с ним она не единожды внезапно умолкала. О, эти минуты молчания у влюбленных, когда они оба знают, сколь грозно то, что ждет их впереди, ибо такие паузы пророчат катастрофу и все прочие ужасные волнения! Но пока горизонт их ясен, и легкомыслен их разговор, и весела каждая шутка.

Никогда я не опущусь до подлости формального перечисления событий! Как, вооружась только бумагой да карандашом, выйду я в звездную ночь, чтобы сосчитать все алмазные прорехи на небесном полотне? Кто пересчитает все светила небесные, словно чайные ложки? Кто передаст словами на бумаге всю прелесть Люси Тартан?

И напоследок: ее происхождение, какое приданое за ней дадут, сколько платьев вмещает в себя ее гардероб и много ли колец у нее на пальцах – я с готовностью предоставляю составителям генеалогий, сборщикам налогов и обойщикам о том заботиться. Мне, собственно, надлежит поведать вам об ангельских качествах Люси. Но, как и в других краях, у нас тоже господствует нечто вроде предубеждения против тех ангелов, что только ангелы и ничего более, поэтому я обреку себя на муку, раскрыв для подобных джентльменов и леди подробности истории Люси Тартан.

Она была дочь человека, который приходился Пьерову отцу самым близким и сердечным другом. Но тот отец давно отошел в мир иной, и она, его единственная дочь, проживала вместе с матерью в городе в очень приличном доме. Но хотя ее дом и был отныне в городе, ее сердце дважды в год неизменно оставалось в деревне. Она вовсе не любила город и пустой, бездушный, светский образ жизни. Сколь бы то ни было странным, но ангельские черты ее характера красноречиво и убедительно говорили о том, что, появившись на свет среди кирпича и известки морского порта, она тем не менее тосковала по плодоносящей земле и густым травам. Так милая коноплянка, коя хоть и родилась за прутьями клетки в спальне у леди на океанском берегу и ничего ровным счетом не знает о другой жизни, но все же, когда приходит весна, трепещет в смутном предвкушении, не может ни есть, ни пить из-за этих необузданных желаний. И хотя она никогда не жила на воле, опьяненная весной коноплянка свято знает, что подоспело время весенней миграции. Так и в Люси пробуждалась весенняя тоска по первой зелени. Каждую весну эти бурные желания завладевали нею; каждую весну эта прелестная девушка, как коноплянка, перелетала в деревню. О, дай боже, чтоб те другие и тайные желания, кои долгое время после гнездились в самых глубинах ее души, когда жизнь стала для нее тяжким бременем, – дай боже, чтоб те жгучие желания, что снедали ее, встретили понимание в раю, когда ее душа в последний раз простится с этой грешной землей и упорхнет на небеса.

Большой удачей для Люси было то, что ее тетушка Лэниллин – меланхоличная, бездетная вдова, носящая белый тюрбан, – жила в уютном коттедже в деревеньке Седельные Луга; и еще большей удачей – то, что эта славная пожилая тетушка всегда дарила ей свое расположение и чувствовала тихую радость, когда делила кров со своею племянницей. Поэтому коттедж тетушки Лэниллин был, в известном смысле, и Люси. Так уж повелось, что она каждый год по несколько месяцев жила в Седельных Лугах; и в дни скромных и невинных сельских развлечений Пьер впервые заметил Люси, и та нежная страсть, что вспыхнула в нем тогда, ныне захватила его целиком.

У Люси было двое братьев, один старше нее тремя годами, другой – двумя. Но эти молодые люди служили офицерами во флоте, и потому Люси и ее мать не часто видели их подле себя.

Миссис Тартан владела приличным состоянием. Более того, она прекрасно сознавала сей факт и порой была несколько склонна приукрасить положение своих дел в разговоре с теми, кто не входил в подробности. Иными словами, миссис Тартан, вместо того чтобы превозносить свою дочь, на что она имела все основания, была несколько склонна превозносить толщину своего кошелька, на что оснований у нее не было вовсе, памятуя о том, что Великий Могол, по всей видимости, обладал куда большим состоянием, чем она, не говоря уже о персидском шахе и бароне Ротшильде, да и о тысяче других миллионеров, но при этом Великий Турок и другие монархи Европы, Азии и босоногой Африки, вместе взятые, не могли бы сыскать во всех своих владениях такой прелестной девушки, как Люси. И все же миссис Тартан была бесподобною леди, как это водится в свете. Она жертвовала деньги на благотворительность, и во всех пяти церквях за нею числилось по скамье, а также немало заботилась о том, чтоб превратить землю в райский сад, устраивая браки всех знакомых привлекательных молодых людей. Попросту говоря, она была свахой – но не сводней и не чертом, – хотя, правду молвить, могла пособить тому, чтоб матримониальный огонь запылал в груди иных несговорчивых джентльменов, кои женились при ее полном содействии и послушавшись ее совета. Такая шла молва – но, как мы знаем, молва обычно лжет, – что было некое тайное общество раздосадованных молодых мужей, кои выбивались из сил, тайком рассылая всем неженатым молодым незнакомцам записки, в коих предостерегали их о хитроумных подходах миссис Тартан, и – из опасения быть узванными – прописывали свои имена шифром. Но сие не могло быть правдой, ибо миссис Тартан, опьяненная успехом тысячи союзов, устроенных ею – и гори оно синим или ясным пламенем, ей все нипочем, – победно бороздила моря высшего света, заставляя все прочие корабли, кои были меньше ее собственного, тоже ставить свои паруса по ветру, и вела на буксире целые флотилии молодых леди, для коих ей суждено было отыскать лучшие супружеские гавани в мире.

Но разве устройство браков не должно начинаться с семьи, ведь, по пословице, своя рубашка ближе к телу? Отчего Люси, ее родная дочь, до сих пор не замужем? Однако не торопитесь с выводами – миссис Тартан много лет тому назад посетила счастливая мысль соединить судьбы Пьера и Люси, но в этом случае ее планы только повторяли – до некоторой степени – прямой божий замысел, по воле коего и сложилось так, что Пьер Глендиннинг рад был избрать Люси Тартан среди всех прочих. Вдобавок то была страсть, коя проявляла себя столь явно, что миссис Тартан большей частью с оглядкой и осторожностью плела те любовные сети, в кои завлекала Пьера и Люси. В довершение сия страсть в укреплении не нуждалась вовсе. Два Платоновых тела<sup>25</sup>, блуждая в поисках друг друга со времен Сатурна и Опс<sup>26</sup> до наших дней, сошлись на глазах у миссис Тартан – и что еще могла сделать миссис Тартан, чтобы соединить их вечными и нерасторжимыми узами? Однажды, и только однажды мелькнуло у Пьера смутное подозрение, что миссис Тартан выступала настоящей лисой, да и то втихомолку свернулось горошиной.

В те дни, как они были еще мало знакомы, в городе он обычно завтракал в обществе Люси и ее матери и первую чашку кофе получал из рук миссис Тартан, затем она им говорила, что чует запах жженных спичек<sup>27</sup> где-то в доме, и должна лично проследить, чтоб их все погасили. Так, строго наказав остальным не следовать за нею, она поднималась со своего места и шла

<sup>25</sup> Платоновы тела – правильные многогранники, какими Платон видел атомы.

<sup>26</sup> Опс – в греческой мифологии – Рея, жена Кроноса; богиня, отвечающая за браки. Сатурн в Древнем Риме был богом времени (каким у греков был Кронос).

<sup>27</sup> Непереводимая игра слов – match значит одновременно и «спичка», и «найти подходящую пару».

искать жженые спички, оставляя пару наедине обмениваться любезностями за кофе, и наконец прислала им записку с верхних этажей, что жженые спички или что другое вызвали у ней головную боль, и умоляла Люси распорядиться послать ей наверх тостов и чаю, чтоб она могла позавтракать у себя этим утром.

После того Пьер начинал переводить взгляд с Люси на свои ботинки, и когда снова поднимал глаза, то видел Анакреона<sup>28</sup> на софе с одной стороны от себя, а «Мелодии» Мура<sup>29</sup> – с другой стороны, и баночку меда на столе, и кусочек белого сатина на полу, и что-то похожее на подвешенную вуаль, повисшее на канделябре.

Впрочем, неважно, думал Пьер, неотрывно глядя на одну Люси, я и сам стремлюсь угодить в силлок, когда он расставлен в раю и когда приманивают таким ангелом. Он вновь смотрел на Люси и видел, как она подавляет несказанную досаду и невольно бледнеет. В тот миг он с охотой поцеловал бы милый соблазн, который так кротко ропщет на свою участь приманки в силке. Затем он вновь обводил взглядом комнату и видел, какие ноты миссис Тартан – под предлогом наведения порядка – оставила на пианино; видел, что эти ноты были поставлены и раскрыты так, чтоб название «Любовь когда-то началась с малого»<sup>30</sup> можно было прочесть издали; и при мысли о том, сколь удачно в данном случае сие совпадение, Пьер не мог без того, чтоб не улыбнуться украдкой, сдерживая смех, о чем тотчас же сожалел, тем более что Люси, видя эту улыбку и понимая ее по-своему, немедленно вспархивала со своего места и чудным, негодующим, ангельским, восхитительным и неподдельно-искренним голосом спрашивала: «Мистер Глендиннинг?», сразу же рассеивая у него легчайшую тень подозрения, что Люси помогала своей матушке мастерить все любовные капканы, кои, верно, казались той верховой хитрости.

И правда, миссис Тартан могла творить все, что душа пожелает, – ни намеки, ни хитрые уловки не могли ничего переменить в любви Пьера к Люси, и непрощенные подкаски только стесняли их и походили на святотатство. Нужны ли намеки миссис Тартан лилиям, когда те и так в полном цвету? Нужны ли хитрые уловки миссис Тартан железу, когда оно само тянется к магниту? Глупенькая миссис Тартан! Но глуп весь наш мир, глупы люди, что его населяют, и первая среди них – миссис Тартан, сваха нации.

Все хитрости миссис Тартан были еще потому смешными, что она не могла не знать о том, как миссис Глендиннинг желает этого брака. И разве не была Люси богата? – несомненно; после смерти матери она должна унаследовать большое состояние (мысль, навевающая миссис Тартан грусть), – и разве семья ее мужа не была одной из лучших фамилий, и разве не был отец Люси близким другом отца Пьера? И если для Люси можно было бы найти другую подходящую партию, то какая женщина могла бы сравниться с ней? Ох и глупа же миссис Тартан! Но когда такой леди, как миссис Тартан, выпадает на долю сидеть, чинно сложа ручки, то она начинает творить именно те глупости, какие вышли из всех затей миссис Тартан.

Что ж, время шло своим чередом, и Пьер любил Люси, а Люси – Пьера, пока наконец два молодых моряка, братья Люси, не вошли однажды в гостиную миссис Тартан, воротясь домой, после трехлетнего отсутствия, из своего первого плавания по Средиземному морю. Они устали на Пьера, увидев, что тот сидит на софе совсем близко от Люси.

– Пожалуйста, присаживайтесь, джентльмены, – сказал Пьер. – Места много.

– Мои дорогие братья! – крикнула Люси и бросилась обнимать их.

– Мои дорогие братья и сестра! – воскликнул Пьер и обнял всех троих.

---

<sup>28</sup> Анакреон – древнегреческий поэт-лирик; писал гимны, любовные песни.

<sup>29</sup> Томас Мур (*англ.* Thomas Moore, 1779–1852) – английский поэт, ирландец по происхождению, сочинял романтические стихи, песни и баллады; поэтический сборник «Ирландские мелодии» – одна из самых известных его книг.

<sup>30</sup> Баллада «Любовь когда-то начиналась с малого» (*англ.* «Love was once a little boy») – американская любовная баллада, которую сочинил Дж. Н. Паттисон (J. N. Pattison) 1873 г. в Нью-Йорке.

– Прошу вас убраться руки, сэр, – сказал старший из братьев, который служил корабельным гардемарин<sup>31</sup> последние две недели.

Младший брат немного отодвинулся и, похлопав рукой по ножу на поясе, сказал:

– Сэр, мы прибыли из Средиземноморья. Сэр, позвольте мне сказать, что это решительно неуместно! Кто вы такой, сэр?

– Я не могу объяснить – язык отнялся от радости, – объявил Пьер, весело обнимая всех снова.

– Это переходит все границы! – воскликнул старший брат, выпрастывая наружу свой воротничок, смятый объятием, и яростно его поправляя.

– Назовите себя! – бесстрашно выкрикнул младший брат.

– Тише, глупенькие, – вступила Люси, – это наш давний товарищ по детским играм, Пьер Глендиннинг.

– Пьер? Как? Пьер? – воскликнули молодые люди. – Обними-ка нас всех снова! Ты вытянулся в сажень!.. Кто бы тебя узнал? Но тогда... Люси? Люси?.. Какую роль ты играешь в этом... э-э родственном объятии?

– О, Люси ничего такого не имела в виду, – отмахнулся Пьер, – давайте-ка обнимемся еще.

Так они обнялись вновь, и в тот вечер стало официально известно, что Пьер женится на Люси.

Вслед за тем молодые моряки взяли на себя труд призадуматься как следует, хотя они вовсе не собирались заявлять это вслух, но их возмущение двусмысленным и непохвальным поведением сестры и молодого человека значительно улеглось, едва им дали понять, что влюбленные только что обручились.

### III

В ту старую, добрую, ясную эпоху, когда дед Пьера жил на свете, американский джентльмен, обладающий крепким здоровьем и состоянием, вел несколько иной образ жизни, чем хлипкие джентльмены наших дней. Дед Пьера росту имел шесть футов четыре дюйма; и когда в его старом родовом особняке вспыхнул пожар, то он одним ударом ноги вышиб дубовую дверь, открыв доступ к ведрам своим черным рабам; а Пьер, частенько примеряя его военный камзол, который хранился в Седельных Лугах как семейная реликвия, видел, что карманы свисают ниже его колен и в застегнутом поясе еще достанет места свободно войти доброму бочонку виски. Как-то раз в одной ночной стычке на пустоши, еще до Войны за независимость, старый джентльмен убил двух жестоких индейцев – схватил их и бил головами друг о друга. И все это сделано джентльменом, у коего было самое мягкое сердце и самые голубые глаза на всем белом свете, который, воздавая должное патриархальным обычаям тех дней, со всею кротостью и почтением относился к домашним ларам, будучи сам седовласым; он был самый нежный супруг и самый нежный отец, самый добрый хозяин для своих рабов, он отличался редкой невозмутимостью, любил после обеда выкурить трубочку, с видом полнейшей безмятежности; он легко прощал другим их оплошности, будучи добрым христианином и благотворителем, – словом, то был безгрешный, бодрый, прямодушный, голубоглазый, святой старец, в кроткой и величавой душе коего мирно уживались лев и ягненок – по образу и подобию его Бога.

Пьер никогда не мог спокойно любоваться его прекрасным военным портретом без того, чтоб не начала его мучить печальная неутолимая жажда застать деда в живых и посмотреть на него воочию. Величественный образ кротости, что смотрел на него с того портрета, производил на чувствительного и благородного душою молодого наблюдателя впечатление, поистине неиз-

---

<sup>31</sup> Букв. «морской гвардеец».

гладимое. Ибо в его глазах тот портрет обладал божественной силою ангельских проповедей; ни дать ни взять чудотворное Евангелие, вставленное в рамку и повешенное на стену, откуда оно возвещало всем, как с Горы<sup>32</sup>, что сей муж с портрета благороден, боговиден, преисполнен всех мыслимых совершенств, являет собою подлинный образец силы и красоты.

Так сей великий старый Пьер Глендиннинг славился великой любовью к лошадям, но не в новомодном духе, ибо никогда не был жокеем, и из всего мужского рода больше водил дружбу со своим крупным, гордым, серым жеребцом удивительно спокойного нрава, который неизменно ходил у него под седлом; он позаботился о том, чтоб ясли для его лошадей были тщательно ошкурены, словно старые разделочные доски, и сработаны из крепких кленовых бревен, а ключ от амбара с зерном висел у него в библиотеке, и никто, кроме него, не задавал корму его коням; когда же он отлучался из дому, то на плечи Мойяра, неподкупного и самого исполнительного старого негра, возлагалась сия почетная обязанность. Он говаривал, что только тот любит своих лошадей, кто задает им корму своими руками. Каждое Рождество он задавал им полную меру зерна. «Я праздную Рождество вместе с моими лошадьми», – прибавлял великий старый Пьер. Сей великий старый Пьер вставал на заре, умывался и совершал короткую прогулку на свежем воздухе, а после, воротясь в свой кабинет и будучи наконец полностью одетым, торжественно навещал конюшни, чтобы пожелать своим достопочтенным друзьям прекрасного и радостного утра. Горе Кранцу, Киту, Даву или любому другому негру-конюху, если великий старый Пьер видел хоть одну лошадь, не укрытую попоной, или хоть одну сорную травинку среди сена в яслях. Он никогда не наказывал Кранца, Кита, Дава или любого другого раба поркой – вещь неслыханная для той поры и того патриархального края, – вместо этого он не приветствовал их ласковым словом, что было большим несчастьем для них, ибо Кранц, Кит, Дав и все прочие рабы любили великого старого Пьера, как пастухи любили старого Авраама.

Чей это чинный, холеный скакун с серой гривой? Кто тот старый халдей<sup>33</sup>, что скачет на нем по окрестностям? Это великий старый Пьер, который каждое утро, до своего завтрака, выезжает в поля на своем любимом жеребце – и не садится в седло, если сперва не испросит у того позволения. Но время летело, и к великому старому Пьеру пришла старость: он потерял свою знаменитую статью, располнел; и совесть не позволяла больше садиться в седло любимого скакуна такой могучей и грузной тушей. Вдобавок благородный жеребец тоже состарился, и трогательная задумчивость поселилась в его больших внимательных глазах. Никогда больше сыну человеческому, повторял свою клятву великий старый Пьер, не ездить на моем скакуне, никакая упряжь больше не коснется его! Каждую весну засевалось клевером отдельное поле для сего жеребца, и в середине лета траву косили и сушили, чтобы кормить его зимой самым лучшим сеном, и была назначена ему также особая мера зерна, что молотили цепом, чья рукоять однажды послужила древком для знамени в веселой стычке, когда сей старый конь подымался на дыбы перед великим старым Пьером – один махал гривой, а другой – шпагой!

Вот уже одна необходимость велит великому старому Пьеру выезжать на утреннюю прогулку, для того не седлает он более старого серого жеребца. Ему смастерили фаэтон, под стать дородному генералу, в поясе коего спрятались бы трое обычных мужчин. Удвоены, утроены крепкие кожаные S-образные хомуты для рессор экипажа; колеса огромные, как жернова, что стаскивали с какой-то мельницы; крытое сиденье покойное, как пуховая перина. Каждое утро из старых арочных ворот выезжает старый Пьер, да только теперь в экипаже, и везут его не одна

<sup>32</sup> Намек на Иисуса Христа и Нагорную проповедь.

<sup>33</sup> Халдей – первоначально халдеями звались семитские племена, что поселились в землях между Тигром и Евфратом с X по IV в. до н. э. Считалось, что они занимались магией и волхвованием. Много позже слово «халдей» стало нарицательным, и так стали звать любого мага, чародея, звездочета или прорицателя в просторных восточных одеждах.

лошадь, а две, как пузатого китайского джоша<sup>34</sup>, что раз в год выносят из храма и влекут по улицам.

Но время все летело, и настало утро, когда в воротах не показалось фаэтона, но на всех лужайках и во дворах толпился люд, солдаты выстроились в два ряда по обе стороны подъездной аллеи; шпаги оставляли отметины на крыльце, мушкеты стреляли в звездное небо, и траурный военный марш слышен был во всех залах особняка. Великий старый Пьер отошел в мир иной, и, как подобало герою прежних битв, он умер, когда занималась заря новой войны; но прежде чем отправиться в пекло стрелять врага, его взвод разрядил мушкеты в воздух над могилой своего старого командира – в 1812 году от Рождества Христова умер великий старый Пьер. А медные барабаны, что отбивали ритм его похоронного марша, были те самые британские литавры, что когда-то напрасно выстукивали парадный марш для тридцати тысяч будущих военных узников, коих вел на верный плен известный хвостун Бейгорн<sup>35</sup>.

На другой день старый серый жеребец отвернулся от зерна – отвернулся и гордо заржал в своем стойле. Даже доброму Мойяру он не дает себя гладить, всем своим видом выражая беспокойство; старый серый жеребец, казалось, вот-вот молвит: «Я не чую любимой руки – где великий старый Пьер? Не кормите меня и не хольте меня – где великий старый Пьер?»

Ныне он спит вечным сном подле своего хозяина: в один из дней он пал на поле, мягко свалившись с ног; и с тех самых пор великий старый Пьер и серый жеребец несутся по этому полю к вечной славе.

Но его фаэтон – подобно катафалку, увенчанному черными перьями, – оказался более долговечным, чем тот благородный груз, что он возил когда-то. И гнедые жеребцы, что возили великого старого Пьера, когда тот был жив, и, согласно его последней воле, повезли его мертвого, следуя за гордой поступью старого серого жеребца, который шел впереди них, – эти гнедые жеребцы по-прежнему жили; и пусть не они сами или их отпрыски, но в двух своих потомках от жеребцов той же породы. Ибо на землях поместья Седельные Луга и человек, и конь имели каждый свое наследие, и этим ясным утром Пьер Глендиннинг, внук великого старого Пьера, ехал вместе с Люси Тартан, сидя в фаэтоне, где его предок восседал когда-то, и правя упряжкой жеребцов, чьими прапрапраотцами некогда правил великий старый Пьер.

Какая гордость разрасталась в груди Пьера: силою мечты он одевал плотью лошадей-призраков, что, запряженные цугом, влекли за собой его фаэтон. «Эти кони только дышловые! – воскликнул молодой Пьер, – Выносные лошади – их потомки».

#### IV

Но любовь больше метила в его возможное и вероятное потомство, чем в его некогда живых, но ныне фантастических предков из прошлого. Так, румянец Пьера, вызванный фамильной гордостью, быстро приобрел более глубокий оттенок, когда нежное пламя любви к Люси больше не окрашивало его щек.

---

<sup>34</sup> Джош (*англ.* joss) – слово это пришло в английский из португальского, искаженное «deos» – бог; несмотря на то что Мелвилл пишет его с большой буквы, это имя нарицательное и применяется к любому идолу (синоним слова «божок»).

<sup>35</sup> Бейгорн, Джон (*англ.* John Burgoyne, 1722–1792) – британский генерал, политик и драматург, которого прозвали «Джентльмен Джонни»; сражался на стороне Британской империи во времена Войны за независимость, где сыграл плачевную роль: ему было поручено командовать армией, что должна была двигаться на юг из Канады, чтобы отвоевать назад Новую Англию и положить конец американскому восстанию. Бейгорн выступил из Канады, но его войско двигалось к Нью-Йорку настолько медленно, что это позволило американцам собрать свои силы. Вместо того чтобы следовать намеченному плану, британская армия в Нью-Йорке двинулась дальше на юг, чтобы захватить Филадельфию. Неподалеку от Саратоги армия Бейгорна была окружена. Он дал еще два небольших сражения и затем, видя, что силы неравные, сдался в плен вместе со своими солдатами. Это событие стало поворотной точкой в войне Британии и американских поселенцев и позволило последним выиграть войну.

То утро было драгоценнейшей жемчужиной, что время прежде таило в своем ларце. Несказанную негу мирных наслаждений навевала красота полей и холмов. Опасное то было утро для всех влюбленных, что еще не дали своих обручальных клятв. «Откройтесь друг другу», – призывало оно. «Узрите нашу легкокрылую любовь», – щебетали птицы на деревьях; в синей дали моря моряки не пытались больше вязать свои булины<sup>36</sup>, их руки потеряли былую сноровку; хочешь не хочешь, а любовь вьет свои любовные узлы на каждом блестящем рангутном дереве.

О, будем же славить красоту этой земли, ее красоту и цветение и все ее радости! Первые сотворенные миры были землями вечной зимы; вторые, что появились на свет, были весенние земли; третьим и последним, и самым совершенным из всех, стал наш летний мир. В нижних сферах, скованных холодом и льдом, священники проповедуют о нашей земле, как мы – о Раю на небесах. О друзья мои, говорят они своим прихожанам, там, на земле, есть время года, что на их языке величают летом. В те поры их поля зеленеют необозримым покровом, снег и лед на время оставляют их землю; в те поры миллион чудных, ярких, благоуханных цветочных головок пудрят бессчетные травы своею пылью и высокие величественные деревья, немые и неохватные, вздымаются ввысь, простирая свои длани и поддерживая зеленые своды над беззаботными ангелами – мужчинами и женщинами, – кои под их сенью предаются любви и дают брачные обеты, и почивают сном, и летают в мечтах, а на них благосклонно взирает с небес бессмертная чета их богов, радостное солнце и печальная луна!

О, будем же славить красоту этой земли, ее красоту и цветение, и все ее радости. Мы жили прежде и будем жить вновь, питая надежду, что на смену нашей эпохе грядут более справедливые времена, так как мы пережили не самые лучшие. Каждое новое поколение теснит демона Догму все дальше и дальше, ибо он не что иное, как проклятые пути хаоса, а мы с каждым своим следующим запретом из всех сил тянем его назад. Пою осанну этой земле, сколь прекрасна она, будучи при том лишь передней для лучшего мира. Покинув некий Древний Египет, мы перебрались в этот новый Ханаан<sup>37</sup>, и из этого нового Ханаана мы проложили себе путь в некую Черкесию<sup>38</sup>. И пусть наши мучители Нужда и Горе последовали за нами из Египта и теперь попрошайничают на улицах Ханаана, ворота Черкесии не пропустят их, и посему придется им, вместе со своим сеньором, демоном Догмой, убраться восвояси в хаос, из коего они вышли.

Любовь была первой дочерью, коя появилась на свет в Эдеме от радости и покоя, когда мир был еще молод. Тот, кто угнетен заботами, не может любить; тот, кто душою погряз в унынии, не обретет Бога. И поскольку молодость, по большей части, не ведает забот и не знает уныния, то посему с начала времен молодость принадлежит любви. Любовь может кончиться горем, и старостью, и муками, и нуждой, и всеми мыслимыми человеческими страданиями, но начинается она всегда с радости. Первый любовный вздох никогда не прозвучит раньше игривого смеха. Любовь сперва смеется, и затем только принимается вздыхать. Руки Любви подобны звенящим кимвалам<sup>39</sup>, уста любви подобны звонкому охотничьему рогу, из коего несетя живое и радостное пение при малейшем ее вздохе!

В то утро два гнедых жеребца везли смеющихся влюбленных по дороге из Седельных Лугов, что вела к холмам. Они звучали под стать друг другу – молодой мужественный тенор Пьера Глендиннинга и девический дискант Люси Тартан.

Дивная красавица, голубоглазая и златовласая, яркая блондинка, Люси создана была из тех цветов, что прежде составляли привилегию одних лишь небес. Светло-голубой, Люси, твой

<sup>36</sup> Булинь – «король узлов», концевая петля, которая не затягивается.

<sup>37</sup> Ханаан, или Земля Обетованная, – Палестина, в которую Господь пообещал привести евреев, под предводительством Моисея, когда те сбежали из Египта (Исход, 3, 8 и 17).

<sup>38</sup> Черкесия – историческая область на юге России, у Черного моря, место проживания черкесов; столица – г. Сочи.

<sup>39</sup> Кимвалы – старинный ударный музыкальный инструмент, предшественник современных тарелок.

неизменный цвет, светло-голубой идет тебе больше всего – таковое беззаботное наставление она то и дело слышала от своей матери. С обеих сторон каждая живая изгородь Седельных Лугов окутывала Пьера запахом цветущего клевера, а от ротика и щек Люси исходило свежее благоухание, как от юной фиалки.

– Благоухание ли то цветов или твое? – кричал Пьер.

– Глаза предо мной или озера? – кричала Люси в свой черед; взгляд ее тонул в его глазах, как свет двух звезд, что достигает самого дна чистых вод карового озера<sup>40</sup>.

Ни один рудокоп Корнуолла<sup>41</sup> не спускался еще столь же далеко в свои бесконечные шахты, как любовь, которая проникает взором в глубину смущенных глаз. Любовь видит на десять миллионов морских саженей вглубь, вплоть до слепящего блеска жемчугов на дне. Наши глаза служат любви магическими зеркалами, в которых все, что не от мира сего, предстает в истинном свете. В пучинах морских не наберется столько рыбы, сколько можно насчитать образов любимого человека, что запоминают глаза влюбленного. Там, в тех дивных водах, ходит сказочная летучая рыба-глаз, которая порой парит над волнами, переполняемая радостью, и тогда ее влажные плавники дарят влагу щекам влюбленных. Глаза любви – сама святость, где сокрыты все тайны на свете; когда же любящие встречаются взглядами, то постигают секреты мироздания, и каждый, чувствуя непередаваемый трепет, понимает, что любовь есть Бог всего сущего. Те мужчины и женщины, что не любили никогда, что никогда не смотрели в глаза своим любимым, тем не дано постичь самую прекрасную и великую религию на свете. Любовь – вот Евангелие, что завещано человечеству Творцом его и Спасителем; книга на розовых лепестках, чей переплет сплетен из фиалок, и оттиски букв сделаны клювами щебечущих птиц, а чернилами стал золотистый сок лепестков лилий.

Нескончаемы повести, что толкуют нам о любви. Нет ни времени, ни места, чтобы пересказать историю любви. Всё то, что доставляет наслаждение взгляду, вкусу, чувству или слуху, – все произвела на свет любовь; и нет ничего, что было бы ею не создано. Не любовь нагромоздила арктические льды, но любовь всегда их побеждала. Скажите, разве эту землю каждый день, каждый час не покидают дикие звери? Где теперь волки, что некогда обитали в Британии? Где теперь в Вирджинии пантеры и леопарды? О, любовь повсюду занята делом. Любовь везде найдет своих моравских братьев<sup>42</sup>. Нет ни единого пропагандиста, что желал бы кого-то полюбить. Южный ветер шепчет мотивы брачных песен варварскому северу, а на далеком побережье на другом конце света спокойный западный ветер напевает любовные песни строгому востоку.

Вся наша Земля – нареченная любви; и демон Догма напрасно воеет, силясь помешать заключению сего брачного союза. Для чего еще наш мир на экваторе одевается такой пышной зеленью, как не для того, чтоб в этих богатых одеяниях отправиться к венцу? И для чего в деревьях велит он цвести апельсиновым деревьям и лилиям, как не для того, чтоб все юноши и девушки влюблялись и заключали браки? Ибо на каждой свадьбе, где венчают настоящих влюбленных, гремит праздничный марш всемирной любви. Всех тех невест нарекут подружками любви на ее грядущем грандиозном венчании с нашим миром. Так любовь соблазняет нас на все лады; где найдется такой юноша, что устоит, когда его глазам откроются прелести обворожительной земной красавицы? Куда бы ни направилась красавица, там тотчас же развернется Азия со всем шумом и роскошью ее восточных базаров. Небеса не даровали Италии ни той красоты, что отличает девушку-янки, ни своего благословения на ее любовные союзы

---

<sup>40</sup> Каровое озеро (*англ.* tarn) – ледниковое озеро высоко в горах, которое занимает дно кара (естественного углубления в горной породе; отсюда и название).

<sup>41</sup> Корнуолл (*англ.* Cornwall) – графство на юго-западе Англии, которое до середины XIX века было самым крупным районом добычи олова и меди в мире и славилось своими бездонными шахтами, разработка коих началась еще в бронзовом веке.

<sup>42</sup> Моравские братья – протестантская секта.

на земле. Лотарио<sup>43</sup> от ангелов не спускались разве на землю, чтобы вкусить любви смертных женщин и узреть их красоту? И это в то время, пока их глупцы братья сокрушались о том самом Эдеме, что те добровольно покинули? Да, те завистливые ангелы и впрямь покинули небо навеки и переселились на землю, а к чему эмигрировать, если не ради того, чтоб достичь еще больших высот?

Любовь – величайший в мире спаситель и чародей, а все красавицы служат ей верой и правдой милыми эмиссарами, коим любовь дарует столь пленительную убедительность, что ни один юноша не в силах их отвергнуть. Каждому молодому человеку выбор его же сердца кажется непостижимым, как ведьма, коя, сосредоточенно сплетая воедино десять тысяч заклинаний и циклических чар, все кружит да кружит вокруг него, куда ни поверни: бормочет слова, полные загадочного смысла, и заставляет всех подземных духов и гномов предстать перед ним, и истребляет всех наяд в море, качаясь на волнах близ него, и посему, благодаря этой любви, тайны множатся с каждым новым вздохом – чему же тогда удивляться, что любовь стала глазом всего таинственного?

## V

И в то самое утро Пьер вел себя очень таинственно – правда, не постоянно – и то и дело прерывал молчание крайне таинственных пауз бурными всплесками неудержимой веселости. Он казался разом и бойким фокусником и едва ли не пройдохой. Халдейские<sup>44</sup> импровизации он изливал в торопливых Золотых Стихах<sup>45</sup>, где приправой служили насмешливая острота и красное словцо. А восхищенные взгляды Люси и вовсе его окрыляли. Не заботясь о том, куда несут их лошади, он прижимал к себе Люси двумя руками и, словно сицилийский ныряльщик за жемчугом, погружался на дно Адриатики<sup>46</sup> ее глаз, вынося на берег королевские кубки, до краев полные радости. Все волны, что плясали в глазах Люси, казались ему волнами безграничного ликования. И как если б на самом деле, подобно настоящим морям, они и впрямь уловили отраженное сияние чистого, безоблачного утра; в глазах Люси, казалось, сверкало все лазурное великолепие того утра, что вставало над миром, и вся притягательная непостижимость небес. И несомненно, голубые глаза женщины, как и море, немало подвержены влиянию климата. Только на вольном воздухе в самый дивный летний день увидите вы их ультрамарин – текучий лазурит. Вот когда Пьер разразился каким-то торжествующим, радостным криком; и полосатые тигры его карих глаз хлестали себя по бокам хвостами и металась в своих клетках, обуреваемые свирепой радостью. Люси отпрянула от него в избытке любви, ибо высочайшая вершина любви – страх и любопытство.

Вскоре быстрые лошади примчали сих прекрасных бога и богиню в лесистые холмы, что казались голубыми издали и теперь обернулись разноцветной тенистой сенью леса, который стал пред ними, словно древние стены Вавилона, заросшие зеленью, где здесь и там, рассеянные через равные промежутки, вершины холмов казались стенными башнями, а сосновые купы на тех вершинах были словно высокие лучники и могучие бдительные часовые прослав-

---

<sup>43</sup> Лотарио – повеса, волокита, ловелас (по имени литературного персонажа; Лотарио – герой пьесы Николаса Роу (1674–1718) «Прекрасная грешница» («Fair Penitent», 1703).

<sup>44</sup> Халдейский – т. е., волшебные, загадочный.

<sup>45</sup> Золотые стихи (*англ.* Golden Verses) – семьдесят одно стихотворение, написанное дактилическим гекзаметром, авторство коих по традиции приписывается Пифагору. Согласно легенде, Золотые Стихи – та сторона учения Пифагора, которую он счел нужным открыть непосвященным. Первоисточники этих стихов до нас не дошли. Золотые стихи принадлежат к мистической литературе. Они повествуют как об этике и религиозных нормах, так и о бытовых правилах жизни. Это литературный памятник народной философии. Так как появление этих стихов – сплошная тайна и сами они полны загадочности, то Мелвилл, вероятно, потому и упоминает их.

<sup>46</sup> Адриатика – Адриатическое море, часть Средиземного.

ленного Вавилона, Города Дневного Солнца<sup>47</sup>. Глотнув чистого воздуха с холмов, лошади, что неслись галопом, заржали в ликование; комья земли так и летели из-под их копыт. Чували они, как их подгоняют радость и упоительный восторг самого дня, ибо день был пьян неисчерпаемой радостью, а из небесной дали до вас доносилось ржание скакунов, что везли колесницу солнца и роняли вниз клочки пены, что ложилась на холмы кудрявым туманом.

В низменностях туманы таяли медленно, с неохотой оставляя столь прекрасные луга. На тех зеленых склонах Пьер брался за поводья и направлял своих жеребцов, и вскоре юная чета уже сидела на уступе, обводя взором голубые дали, все рощи да озера, волнистые поля кукурузы на горных равнинах, и зеленые моря полевицы в низинах, и узкие топи, что выделялись ярчайшей зеленью, указывая, где самые цветущие воды нашей земли проложили свои извилистые протоки; так испокон веков благодать божия чаще всего стучалась в скромные хижины у подножия холмов, и учила сердца простых смертных цвести и радоваться, и обходила стороной замки богачей на взгорье, оставляя тех во власти скуки и одиночества.

Но горе, а не радость – наш великий учитель; и малая толика житейского благоразумия отозвала Пьера прочь с того уступа. Сжимая руку Люси в своей и ощущая – ощущая с нежностью – ее слабый жар, он имел вид человека, коему доверили быть звеном в цепи сообщений, коими обмениваются меж собою летние молнии; его то и дело охватывала сладостная дрожь, и он уж заранее предвкушал те наслаждения, что ближе всего к божественным из всех земных.

И вот он валится в траву, смотря немигающим взглядом в глаза Люси:

– Ты – мой свод небесный, Люси, и я лежу здесь, твой король-пастух, наблюдая, как новые звезды загораются в твоих глазах. Ха! Я вижу восход Венеры. А тут вижу новую планету и, наконец, бескрайнюю туманность, усеянную звездами, как если б тебя затмил некий сверкающий таинственный образ.

Почему Люси не внемлет тем бредням, которыми говорит его поэтическая любовь? Почему она смотрит в землю и так дрожит, почему ее опущенные долу глаза полны слез и струятся теплым дождем? Вся радость исчезла из глаз Люси, и видно, как ее губы дрожат.

– Ах! ты слишком горяч и нетерпелив, Пьер!

– Нет, это ты – апрель, что чересчур дождлив и переменчив!<sup>48</sup> Разве не знаешь ты, что вслед за дождливым и переменчивым апрелем приходит веселая, не терпящая возражений и бесслезная радость июня? И этот, Люси, этот день должен стать твоим июнем, даже земным?

– Ах, Пьер! То для меня еще не июнь. Но скажи, разве все цветы июня не распустились благодаря теплым апрельским дождям?

– Да, любовь моя! Но наш дождь льет сильней – все сильней и сильней, – такие дожди длятся дольше, чем положено апрельским, и никак не вяжутся с июнем.

– Июнь! Июнь!.. Невестин месяц лета... ты на земле сменяешь весну с ее любезными забавами... мой июнь, мой июнь уже скоро настанет!

– О! еще как настанет, но только по всем правилам; тот будет хорош, как настанет, и лучше.

– Тогда не проси цветения от закрытого бутона, пока его еще питают апрельские дожди, ведь, если он раскроется до времени, разве его лепестки не опадут прежде, чем июнь их коснется? Ты сможешь дать клятву, Пьер?

– Я чувю в себе стойкость бессмертных ангелов, что берегут нашу священнейшую любовь, и клянусь в том всеми вечными и неисчерпаемыми радостями, что посещают мечты женщин в

---

<sup>47</sup> Город Дневного Солнца (*англ.* City of the Day) – такой титул некогда принадлежал Вавилону, в то время как город Борсиппу (букв. «Второй Вавилон», расположен был на юго-западе, неподалеку от Вавилона) именовали Городом Ночного Солнца.

<sup>48</sup> Косвенная цитата из «Антония и Клеопатры» Шекспира: «У нас весна любви, и эти слезы – // Апрельский вешний дождь» (Марк Антоний, пер. Донской, акт III, сцена 2). Ср. также слова Доны Анны в сцене IV «Каменного гостя» Пушкина: «Слезы // С улыбкою мешаю, как апрель».

этой земной обители грез. Господь даровал тебе вечное блаженство, а мне – бесспорное обладание тобою и им, ибо таково мое неотъемлемое право... Разве я говорю вздор? Взгляни на меня, Люси, запомни мои слова, любимая.

– Ты юн, и хорош собою, и силен, и наделен пылким мужеством, Пьер, и твое храброе сердце никогда не знало страха... но...

– Но что?

– Ах, мой ненаглядный Пьер!

– Поцелуями я выпью этот секрет из твоих уст!.. Но так что же?

– Давай скорее вернемся домой, Пьер. Какая-то необъяснимая тоска, странная слабость давит мне на грудь. Меня мучит предчувствие, что впереди нас ждет вечный мрак. Поведай мне вновь про ту двойницу<sup>49</sup>, Пьер, про то таинственное призрачное лицо, что, как ты мне сказал когда-то, трижды являлось тебе, а ты пытался бежать, и все безуспешно. Как голубеют небеса, о, как сладок воздух, Пьер... но поведай мне историю двойницы – у нее темные блестящие глаза, мрачное молящее лицо, по которому всегда разлита загадочная бледность и которое всякий раз от тебя отворачивается. Ах, Пьер, порой я думаю – не выйти мне никогда за моего ненаглядного Пьера, пока не разведаю тайну этой двойницы. Скажи мне, скажи мне, Пьер, кто сей упорный василиск с неподвижными глазами, пылающими мрачностью, кто эта двойница, что сейчас предстала предо мною.

– Приворожила! Тебя приворожила! Будь проклят час, когда я поступал, повинуюсь мысли, что в любви нет никаких тайн! Мне не следовало вовсе заводить речь о той двойнице, Люси. Я и так довольно открылся тебе. О, всего и любовь никогда не должна знать!

– Кто не говорит всего, в том любви ни на волос, Пьер. Не стоит никогда больше тебе проносить подобных слов... и, Пьер, прошу, выслушай меня. Теперь... теперь... когда одолевает меня эта непонятная тревога, я умоляю тебя и впредь поступать со мной так, как ты поступил, чтобы я могла всегда знать обо всем, что тебя волнует, пусть даже это будет самая пустая и краткая мысль, что когда-либо слетала к тебе из бескрайнего эфира, где пребывают все идеи, что смущают род людской. Да разве я сомневалась в тебе... могла ли я когда-то помыслить, что в твоём сердце еще остался один край или уголок, коих я не смогла заполнить, – губительным разочарованием для меня, мой Пьер, стал бы тот день. Я скажу тебе вот что, Пьер, – и это сама Любовь говорит сейчас моими устами, – только когда есть прямое доверие и делятся меж собою всеми малейшими тайнами, у любви появляется возможность выжить. Любовь есть тайна и потому живет за счет тайн, Пьер. Если я буду знать о тебе лишь то, что и весь остальной мир знает, кем же тогда ты, Пьер, будешь для меня?.. Ты должен открыть мне всю тайну целиком, ведь любовь – это тщеславие и гордость; и когда я буду идти по улице и встречу твоих друзей, то должна буду утешаться и льстить себе мыслью: «Они совсем его не знают... только я знаю моего Пьера...», что никто больше не вертится на орбите вокруг тебя, греясь в лучах твоего солнца. Так дай мне клятву, дорогой Пьер, что никогда не станешь таить от меня секретов – нет, никогда, никогда! – дай в том клятву!

– Странное чувство овладело мною. Твои необъяснимые слезы, падая и падая мне на сердце, ныне обратили его в камень. Я ощущаю один ледяной холод и твердость; не стану я приносить клятв!

– Пьер! Пьер!

– Да поможет Господь тебе, и да поможет Он мне, Люси. Я не в силах думать, что в этом спокойнейшем и благодатном воздухе невидимые силы строят козни против нашей любви. О! если вы и ныне подле нас, вы, силы, коим я не нахожу названия, то именем, что имеет над вами власть – святым именем Христовым, – я гоню вас прочь от нее и меня. Не смейте ее

---

<sup>49</sup> Двойница жен. (двойник м.) – человек, который может одновременно появляться в двух местах, в двух лицах – одним словом, призрак. Мелвилл ведет речь о призраке женского пола, называя его «лицо» (в оригинале – face).

трогать, вы, бесплотные дьяволы, убирайтесь в свой проклятый ад! Что вы рыскаете по этим райским землям? И почему оковы всемогущей любви не держат вас, дьяволов, на почтительном расстоянии?

– И это Пьер? Его глаза смотрят с испугом; и я мало-помалу все глубже погружаюсь в его душу; он кружит на месте и грозит воздуху и обращается к нему, как если бы тот бросил ему вызов. Горе мне, что чудная любовь вызвала эти губительные чары!.. Пьер?..

– Только что я был бесконечно далеко от тебя, о моя Люси, сбитый с толку, я блуждал во мраке душевной ночи, но твой голос может вернуть меня, даже если я окажусь в Северном краю<sup>50</sup>, Люси. Вот я уже присел рядом с тобою, твое душевное спокойствие передается и мне.

– Мой родной, родной Пьер! Пьер, на десять триллионов кусочков готова я дать себя разорвать ради тебя; на моей груди можешь ты отогреться и найти приют, хотя ныне я пребываю среди арктических льдов, замерзшая до смерти. Мой родной, бесценный, благословенный Пьер! Если б я могла вонзить в себя стилет за то, что мои глупые химеры возымели над тобою власть, настолько взволновали и настолько тебя ранили. Прости меня, Пьер, твое лицо, искаженное страданием, вытеснило из моих мыслей то, другое; страх за тебя победил все прочие страхи. Они перестали меня так тревожить. Крепче сожми мою руку, смотри на меня долгим взором, мой любимый, чтобы вся грусть исчезла без следа. Ну вот, я уже почти здорова; ну вот все и прошло. Воспрянь, мой Пьер; расправим крылья и улетим прочь с этих холмов, где, сдаётся мне, нашим глазам открываются чересчур широкие горизонты. Помчимся же на равнину. Взгляни, твои скакуны кличут тебя своим ржанием – они зовут тебя, – взгляни, туман струится вниз, на равнину, – и вот, эти холмы у меня на глазах вновь обретают вид пустыни и говорят прощай всякой растительности. Благодарю тебя, Пьер... Взгляни-ка, с сухими глазами я покидаю холмы и оставляю позади все свои слезы, чтоб ту влагу впитала в себя эта вечная зелень, подходящая эмблема для неизменной любви, и вместе с тем крепнет во мне тихая грусть. Как жестоко распорядилась судьба, что свои лучшие всходы лавры любви дают лишь на слезах!

Они лихо катили по спускам, держась в стороне от высоких холмов, и вскоре примчались на равнину. Ни единое облачко ныне не омрачало чела Люси; ни единая грозовая раздвоенная молния не проскакивала больше меж бровей у ее возлюбленного. На равнине они вновь обрели мир, и любовь, и радость.

– Это был всего лишь пустой текучий туман, Люси!

– Пустое эхо, Пьер, всегда откликается печальным звуком на давно ушедшее. Будь же здоров, мой Пьер!

– Милосердный Бог да хранит тебя всегда под своим покровом, Люси. Ну, вот мы и дома.

## VI

После того как Пьер проводил Люси в самую светлую комнату коттеджа ее тетушки и усадил вблизи жимолости, что почти пробралась в окно, около которого Люси обычно сживала, делая свои карандашные наброски за мольбертом, ножки коего она искусно оплела живыми виноградными побегами, что тянулись из горшочков с землей, куда поместили две из трех ножек сего мольберта, он подсел к ней сам, заведя легкую приятную беседу, чтоб развеять без следа ее последнюю грусть; и едва сия цель была полностью достигнута, как Пьер поднялся позвать к ней ее добрую тетушку и удалиться до вечера, но Люси окликнула его, прося принести ей прежде голубую папку из ее комнаты, так как ей хотелось прогнать непрошеную гнетущую меланхолию – если только у ней еще остался малейший ее проблеск – и занять свои

---

<sup>50</sup> Северный край (*англ.* Boreal realm) – скорее всего, Мелвилл имеет в виду Шпицберген (*англ.* Spitsbergen, норвежск. Vestspits bergen) – самый большой остров архипелага Свальбард в северной Норвегии; в XIX в. у этого острова велся активный китобойный промысел.

мысли работой над небольшим карандашным наброском, что разительно отличался от видов Седельных Лугов с их холмами.

Тогда Пьер отправился на второй этаж, но замер на пороге, открыв дверь. Он никогда не входил в эту комнату иначе как с безмолвным благоговением. Ковер на полу казался ему святой землей. На каждом стуле, казалось, лежал отпечаток благодати некоего почившего святого, что восседал на них много лет назад. Книга его любви лежала перед ним как на ладони, говоря: преклони колени, Пьер, преклони колени. Но сию крайнюю склонность к любовному благочестию, кою подобные впечатления пробуждали в самом потайном храме его сердца, вовремя ослаблял такой шум крови в его ушах, что в мечтах он сжимал в объятиях всю дольную красоту мира, растворяясь вместе с тем в подлинно искренней любви к Люси.

В очарованном молчании он пересек пустую комнату, и тут его взгляд поймал отражение белоснежной постели в зеркале туалетного столика. Он прирос к месту. На одно краткое мгновение ему почудилось, что пред ним две отдельные постели – настоящая и зеркальная, – и вслед за тем смутное предчувствие самого мучительного свойства проникло в его душу. Но это видение растаяло почти мгновенно. Он двинулся далее, и его взгляд с умиленной и сладкой радостью упал на ту постель, где не было ни единого пятнышка, и остановился на белоснежном сверточке, что лежал рядом с подушкой. Он вздрогнул – ему показалось, Люси пришла за ним, но нет, то был всего лишь кончик ее маленькой ночной туфельки, что выглядывал в узкую щелку меж нижних покрывал постели. Тогда он вновь посмотрел на небольшой белоснежный кружевной сверток и стал как зачарованный. Никогда драгоценные греческие манускрипты не составили бы и половины той цены, что он дал бы за сей сверточек. Никогда ни один ученый не жаждал с таким трепетом развернуть таинственный свиток, как Пьер жаждал раскрыть священные тайны сих белоснежных кружев. Но его рука не коснулась ни единого предмета в комнате, кроме того, за чем он был послан.

– Держи свою голубую папку, Люси. Смотри, ключи так и остались в серебряном замке... боялась ли ты, что я открою?... Надо сознаться, мелькала у меня заманчивая мысль.

– Открой ее! – сказала Люси. – Ну да, Пьер, да, какую же тайну я скрывала от тебя? Прочти меня от начала и до конца. Я вся твоя. Смотри!.. – И она распахнула папку тем движением, с которым опадают лепестки розы, источая нежнейшее благоухание неких незримых духов.

– Ах! Ты светлый ангел, Люси!

– Боже, Пьер, ты изменился в лице, ты смотришь так, будто... Отчего, Пьер?

– Смотрю, как тот, кто тайком заглянул в рай, Люси, и...

– Снова ты говоришь вздор, Пьер, ни словечка больше – ступай, оставь меня. На душе у меня легко. Живее зови мою тетушку и оставь меня. Пстой, сегодня вечером мы будем смотреть альбом с гравюрами, что нам прислали из города, помнишь? Приходи пораньше... ступай же, Пьер.

– Что ж, до свиданья, до вечера, ты, венец всех радостей.

## VII

Когда Пьер проезжал через молчаливую деревню под прямыми полуденными тенями вязов, простодушное очарование, что завладело им в комнате Люси, выветрилось, и таинственная двойница вновь ему вспомнилась, да так и застряла в мыслях. Наконец он приехал домой; мать его отсутствовала, потому, пройдя напрямую через широкий главный холл особняка, он сошел на веранду к заднему крыльцу и, будучи во власти своих дум, побрел к берегу реки.

Там росла могучая древняя сосна, которую, к счастью, миновали топоры безжалостных лесорубов, кои много лет назад расчистили те луга. Как-то раз, направляясь к сей благородной сосне из чащи тсуги, что стояла дальше на другом берегу реки, Пьеру впервые пришлось в голову важное соображение, что хотя тсуга и сосна схожи по кроне и стати и носят столь схожий

наряд, что те, кто не знает лес, иногда не могут их отличить друг от друга, и хотя обе вошли в пословицу как дерево печали, но у темной тсуги нет музыкальности в шуме задумчивых ветвей, тогда как кроткая сосна сладкозвучно роняет слезы скорби.

Пьер опустил на землю у полуобнаженных корней печального дерева и заметил корень, что превосходил все прочие своими размерами и змеился в сторону реки, дальше всех вытянув длинное щупальце, которое дожди и бури давным-давно сделали похожим на пожелтевшую кость.

«Как широко, как вольно раскинулись эти корни! Несомненно, сосна эта крепко вросла в нашу плодоносную землю! Ты, яркий цветок, не пустил свои корни так глубоко. Это дерево видело сто поколений тех пестрых цветов и увидит еще сотню новых. Вот что печалит меня больше всего. Чу, я слышу безутешные и бесконечные жалобные стоны этой Эоловой сосны<sup>51</sup>... ветер стонет в ее ветвях... ветер... то дыхание Господа!.. Неужто Он так печален? О дерево! Столь могучее, столь высокое и при этом столь мрачное! Вот что самое странное! Чу! Стоит мне поднять глаза, чтоб всмотреться в гущу твоих ветвей, о дерево, как двойница, двойница там появляется и смотрит в ответ!.. Да кто же ты Пьеру? Спустишь ко мне, о ты, неведомая дева, что за безотрадное сравнение с той, другой, с прекрасною Люси, которая также покоряет и покорила мое сердце первой! Так печаль всегда шествует вместе с радостью? Так печаль, как своевольный гость, всегда ворвется без всякого стука? Но я еще не знал тебя, печаль, ты только притча для меня. Я знаком с иными проявлениями благородного бешенства; я часто предавался мечтам о том, откуда приходит размышление, откуда приходит грусть, откуда все прелестные поэтические предчувствия... но ты, печаль! Ты остаешься для меня сказкой о привидениях. Я не знаю тебя вовсе и едва ли не готов счесть тебя пустою выдумкой. Не то чтобы мне ни разу не доводилось грустить, временами на меня находит грусть, и такими минутами я совсем не дорожу, но сохрани меня Боже от тебя, ты, в ком таится куда более густой мрак! При мысли о тебе меня бросает в дрожь! Двойница!.. двойница! Вновь она выглянула из чащи твоих ветвей, о дерево! Двойница прокралась в мое сердце. Таинственное создание! Кто же ты? По какому праву ловишь ты мои заветнейшие мысли? Убери свои тонкие пальчики от меня – я помолвлен, да не с тобой. Оставь меня!.. Какие у тебя права на меня? Ты не влюблена в меня, надеюсь? То было бы худшим несчастьем и для тебя, и для меня, и для Люси. Этого быть не может. Кто, *кто* же ты? О! Проклятая неопределенность – слишком хорошо мне знакомая и все ж необъяснимая, – неизвестность, полная неизвестность! Сдается мне, я погряз в замешательстве. Видно, знаешь ты обо мне то, чего я сам о себе не знаю, – что же именно? Если в глубине твоих глаз таится некая мрачная тайна, поведай ее, Пьер этого требует; что скрываешь ты под своим покрывалом, коим ты окутала себя столь небрежно, что, мнится мне, я различаю его движения, но не формы? Вижу, как трепещут его складки позади защитного экрана. Никогда прежде на душу Пьера не сходило подобное безмолвие! Если на деле там ничего нет и ты воплощение высших сил, что требуют от меня безоговорочного подчинения, то я молю тебя поднять покрывало, ибо я должен узреть это сам. Последую ли я опасной тропой к обрыву, предостереги меня; зависну ли над краем пропасти, удержи от падения; но только избавь от неведомой муки, что разом овладела моей душой и тиранит ее нестерпимо, не казни меня долее, иначе та кроткая вера, которою Пьер верит в тебя – чистая, незапятнанная вера, – может растаять, как легкий дым, оставив меня на милость недалекого атеизма! А, двойница сразу исчезла. Молю Небо, только бы она не показалась снова и не нырнула обратно в чашу твоих высоких ветвей, о дерево! Но двойница исчезла... исчезла... исчезла совсем; и я возношу Господу хвалу, и радость вернулась ко мне – радость, что принадлежит мне по

<sup>51</sup> Эолова сосна (в оригинале – Eolean pine) – измененный фразеологизм, образованный от фразы «эолова арфа». «Эолова арфа» (воздушная арфа, «арфа духов») – струнный музыкальный инструмент, который играет сам по себе, когда на него дует ветер и двигает струны.

праву; если бы я лишился радости, то мне пришлось бы вступить в смертельную вражду с невидимыми силами. Ха! Отныне меня облекает и защищает стальная броня; и мне доводилось слышать, что жестокость грядущих зим предсказывали по толщине кожуры на початке маиса – так рассказывают наши старые фермеры. Но это сравнение мрачное. Брось-ка ты свои аллегории – медоточивые в устах оратора, но горькие для желудка философа. Стало быть, да здравствует мое счастливое освобождение, и моя радость прогонит прочь все призраки – вот они и пропали; и Пьер вновь видит пред собою радость и жизнь. Ты, величавая сосна!.. Я не стану больше внимать твоим вероломнейшим небылицам. Не столь уж часто ты зовешь под свою душистую сень, чтобы поразмыслить над теми мрачными корнями, что крепко держат тебя в земле. Так я тебя покидаю, и да пребудет мир с тобою, сосна! Та благословенная ясность мысли, что всегда таится на дне любой грусти – обычной грусти – и приходит, когда все прочее миновало, – ныне во мне та счастливая ясность, и досталась она мне по сходной цене. Я не жалею, что предавался грусти, ведь теперь я так счастлив. Люси, любимая!.. так, так, так... мы с тобою славно скоротаем этот вечерок; и альбом гравюр, сделанных с картин фламандских художников, будет первым, что мы станем смотреть, а потом примемся за второй, за Гомера Флаксмана<sup>52</sup> – эти ясные линии, которые притом полны безыскусного варварского благородства. Затем Флакسمанов Данте... Данте! Он воспевает ночь и ад. Нет, мы не откроем Данте. Мне пришло на ум, что двойница... двойница... немного напоминает прелестную задумчивую Франческу... или скорее дочь Франчески – милый призрак, навеянный печальным ночным ветром пронизательному Вергилию и изгнаннику-флорентийцу<sup>53</sup>. Нет, мы не откроем Данте Флаксмана. Печальная Франческа для меня само совершенство. Флакسمан может вдохнуть в нее жизнь – сделать ее мучения осязаемыми, изобразив их с дивным искусством... с обворожительной силой. Нет! Не открою я Данте Флаксмана! Будь проклят час, когда я прочел Данте! Более проклят, чем тот, когда Паоло и Франческа занимались чтением рокового «Ланселота»!

---

<sup>52</sup> Джон Флакسمан (*англ.* John Flaxman, 1755–1826) – скульптор, иллюстратор и художник, который жил в Англии; главный представитель неоклассического стиля в английском искусстве. Иллюстрации для таких театральных постановок, как «Илиада» Гомера, принесли ему международную славу.

<sup>53</sup> То есть Данте.

## Глава III ДУРНОЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ, КОТОРОЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

### I

Двойница, о которой Пьер и Люси столь таинственно и испуганно толковали меж собою, была не одним только чудным призраком; и Пьер угадывал в ней смертные черты, в коих сквозила бесконечная печаль. Она не являлась ему ни в уединении, ни на какой-нибудь тайной тропе, ни в бледном свете месяца, но всегда при ярком огне свечей в оживленной гостиной, где весело звенело четыре десятка женских голосов. В самый разгар веселья эта тень неизбежно настигала его. Стоя в венце из света, она тихо манила его к себе, и в ее улыбке грезилось что-то знаменательное и пророческое, намек на прошлое, на некий несмыслимый грех; и мнилось, она протянула дрожащий перст к будущему, указуя на некое неотвратимое зло. Такие призраки возникают порой пред взором человека, и, не промолвя ни единого слова, показывают ему быстрые видения некоего ужасного грядущего. Видом подобные человеку, но окруженные облаком неземного света, явные чувствам, но непостижимые для души, оставляя в нас впечатление несказанного совершенства, всегда парят они между танталовыми муками и блаженством рая; в их облике столь причудливо соединилось дьявольское и божественное, что они с легкостью опрокидывают все наши прежние убеждения, и мы вновь становимся удивленными детьми в этом большом мире.

Двойница преследовала Пьера несколько недель до его поездки с Люси на холмы за пределы Седельных Лугов и перед ее приездом на лето в деревню; больше того, двойница являлась ему в самой обычной и неприятельной обстановке, что лишь разжигало его любопытство.

Он отправился по делам к дальним фермерам-арендаторам, пробыл там почти весь день; и в небе уж плыла луна, когда прелестным ранним вечером он вернулся домой, а Дэйтс подал ему записку матери, в коей та просила его зайти за ней этим вечером в полвосемь в коттедж мисс Лэниллин, чтобы проводить ее оттуда к двум мисс Пенни. Увидев фамилию этих дам, Пьер сразу понял, что его ожидает. Эти пожилые и искренне благочестивые старые девы были одарены самыми великодушными сердцами на свете, и когда в средние лета лишились слуха по воле завистливого рока, то, казалось, приняли решение посвятить себя делам благотворительности, мысля, что, коль скоро Богу угодно было отнять у них радость внимать Христову богослужению, так они будут делать все что только возможно, чтоб следовать заповедям. Посему они воздерживались от посещения церкви, так как мессы не могли интересовать их более; и пока паства преподобного мистера Фолсгрейва, сжимая молитвенники в руках, усердно славилла своего Господа, как велит святой завет, две мисс Пенни, вооружась иглой да нитками, не подымали головы от шитья, не менее усердно служа им: они шили рубашки и платья для бедняков своего прихода. Пьер слышал, что недавно они хлопотали, организуя в богоугодных целях кружок шитья, зовя в него жен и дочерей соседских фермеров, дабы сходиться дважды в месяц в их собственном коттедже (коттедже, принадлежащем двум мисс Пенни) и шить сообща для нужд многочисленных селений обнищавших эмигрантов, которые впоследствии густо застроили своими хижинами дальний берег реки. Но хотя это начинание воплотилось в жизнь лишь после того, как о нем сообщили миссис Глендиннинг, ибо ее сердечно любили и почитали обе благочестивые старые девицы, да после того, как их стараниями все узнали о полной поддержке со стороны этой милостивой леди-помещицы, все же Пьер не слышал, чтоб мать его открыто

просили стать председательницей или вовсе посещать собрания кружка, проводимые каждые полмесяца, хотя он подозревал, что, будучи очень далека от каких-либо колебаний в таком деле, она бы весьма охотно ими верховодила, чтобы оказать тем самым посильную помощь добрым поселянам.

– Ну, брат Пьер, – сказала миссис Глендиннинг, поднимаясь из огромного уютного кресла мисс Лэниллин, – подай мне шаль да пожелай доброго вечера тетушке Люси. Пойдем, а то опоздаем.

Когда они шли под руку по сельской тропке, она промолвила:

– Что ж, Пьер, я знаю, ты бываешь чуточку нетерпелив, приходя на собрания швейного кружка, но мужайся, я только на минутку туда загляну, так, напомнить им кое о чем, за что надо приняться безотлагательно, и тогда прольется на них дождь обещанных мною милостей. И потом, Пьер, я могла бы просить Дэйтса сопровождать меня, но предпочла тебя, ибо желаю, чтоб ты знал тех, с кем мы живем бок о бок, – и сколько у нас истинных красавиц, сколько замужних дам и девушек, наделенных благородством от природы, для коих ты в один прекрасный день станешь лордом. Нас ждет милый рой сельских дев, среди которых иные будут кровь с молоком.

Вскоре Пьер, разгоряченный такими приятными обещаниями, уже входил, ведя мать под руку, в комнату, полную народа. Стоило им показаться в дверях, как старуха, что сидела с шитьем у порога, так как ей не хватило места в общей комнате, пронзительно запищала:

– Ах, дамы, дамы, мадам Глендиннинг! Мастер Пьер Глендиннинг!

Почти тотчас же раздался высокий, резкий, длинный девичий крик в дальнем углу большой двойной комнаты. Никогда еще человеческий голос так не волновал Пьера. Пусть он прежде не встречал той особы, что кричала, и пусть этот голос был ничуть ему не знаком, но тот нечаянный крик поразил его прямо в сердце, оставив рану, что пульсировала болью. Он замер в смущении, но быстро очнулся от окрика матери, руку которой все еще держал в своей:

– Почему ты так стиснул мне руку, Пьер? Ты делаешь больно. Фи! Кто-то лишился чувств, только и всего.

Пьер сразу опомнился и, смеясь про себя над прежним волнением, поспешил в комнату, чтобы предложить помощь, если таковая требовалась. Но жены фермеров и девушки уж были тут как тут, и пламя свечей плясало от свежего ветра из распахнутых окон там, где случился обморок. Вся суматоха скоро улеглась, и, когда затворили окна, она стихла почти совсем. Старая мисс Пенни, та, что была старшей, протиснувшись вперед, подошла к миссис Глендиннинг и поведала ей вполголоса, что в дальнем конце комнаты, где девушки-работницы сели уж слишком тесно друг к дружке, с одной приключился внезапный, но непродолжительный припадок – вероятно, в связи с какою-нибудь нервной болезнью. С ней снова все в порядке. И потому все фермерские жены и дочери, не сговариваясь, видимо поступая так в силу своего прирожденного чувства такта, которое каждому из нас свойственно в какой-то мере, явили собою пример хорошего тона и великодушия, не касаясь более этой темы, и не стали донимать девушку расспросами, перемолвились обо всем едва парой словечек; и все иголки вновь замелькали с прежней скоростью.

Оставив мать беседовать с тем, с кем ей вздумается, и самой улаживать те дела, что привели ее сюда, Пьер потерялся на этом оживленном собрании, и тотчас же забыл о маленькой неприятной заминке, что произошла минуту назад, как только обратился с краткой учтивой речью к двум мисс Пенни – они ловили его слова при помощи длинных витых слуховых рожков, которые, пока в них не возникнет нужда, сестры носили, как носят охотничий рог у пояса, – а также после того, как он выказал глубочайший интерес и понимание предмета, наблюдая таинственный процесс создания большого шерстяного носка, который довязывала пожилая дама в пенсне, его добрая знакомая; после того, как он наконец покончил со всем этим, а мы, в свою очередь, пропустим здесь несколько похожих обменов любезностями, кото-

рые могут показаться чересчур нудными, если остановиться на них подробнее, но которые, однако, заняли у него еще полчаса, Пьер, слегка покраснев и оборвав беседу под благовидным предлогом, направился к сонму девушек, что теснилась в дальнем углу, где в свете уймы свечей, что уже порядком оплыли, приглушенно жужжал этот рой молодых девиц, щеки которых пылали румянцем так, словно то было густое поле садовых тюльпанов. Там были стыдливые и миловидные Марии, Марты, Сюзанны, Бетти, Дженни, Нелли и еще четыре десятка прекрасных нимф, что снимали сливки и сбивали масло на зажиточных фермах Седельных Лугов.

Мы набираемся отваги в присутствии отважных. Когда же берет верх смущение, то оно сковывает всех без разбору. Нужно ли удивляться, что при виде такой густой толпы быстроглазых девушек в венках из полевых цветов, которые чурались его и краснели, оставаясь при том бойкими даже в самом смущении, Пьера тоже бросило в легкую краску, и слова не шли у него с языка? Горячечный жар впервые испытанной страсти жег ему сердце, и учтивые фразы и самые ласковые слова готовились слететь с его уст, но он стал как вкопанный, вдруг оробев под взглядами многих пар глаз, что разили его, словно лучники в засаде.

Однако его смущение чересчур затянулось, а румянец в лице сменился внезапной бледностью; что за диво видит пред собою Пьер Глендиннинг? Позади первого сонма молодых девушек, кои сидели к нему ближе всех, было еще несколько конторок или круглых столиков, за которыми девушки ютились группками по двое, по трое и шили, так сказать, в некоем относительном уединении. Казалось, они не стремились выделиться между сельскими красавицами или же по какой-то причине добровольно пошли на эту маленькую ссылку. И вот на той, что сидела с шитьем за самым дальним и самым скромным столиком у окна, Пьер остановил свой помутневший взор.

Девушка спокойно шьет; и ни она, ни ее товарки не говорят друг с другом. Она почти не поднимает головы от шитья, но самому внимательному наблюдателю открылось бы, что порой она обращает к Пьеру тайные и робкие взоры и затем, еще больше таясь и робея, смотрит на его царственную мать, а после – вдаль. Временами ее необычайное хладнокровие изменяет ей, и тогда кажется, что это всего лишь маска, за которой она пытается скрыть сильнейшую бурю, что бушует в груди. Ее стан облекает скромное черное платье, на коем нет ни ленточки, ни оборки; оно наглухо застегнуто до самой шеи и у самого горла сколото простою бархатной брошью. Чтоб не затруднять дыханья, эта брошь закреплена свободно, но она то сжимается, то растягивается с такой силой, словно ее душит жестокое волнение, коим переполнилось ее сердце. Однако на ее смуглых, оливковых щеках нет ни румянца, ни тени малейшего беспокойства. Стоит этой девушке принять свой обычный вид, и море несказанного спокойствия смыкает волны над ее головой. Но вот она искоса бросает тайный, робкий взор. Тотчас же, словно поддаваясь неодолимому порыву неведомого чувства, каким бы оно ни было, поднимает она свое чудное лицо к сиянию свечей, и на один краткий миг этот лик самой таинственности открыто меняется взглядом с Пьером. Поразительная красота и еще более поразительное одиночество вкупе с невыразимой мольбой обращалось к нему в том облике, коего ему никогда не забыть. Казалось, он видел там также святую землю, где страдание боролось с красотой, и никому не досталась победа, обе остались бездыханными лежать на поле брани.

Преодолев наконец свои побуждения, которые были уж слишком ясны, Пьер развернулся и отошел прочь, чтобы окончательно овладеть собою. Дикое, конфузящее, необъяснимое любопытство снедало его – желание разведать о той девушке хоть что-то. И этому любопытству он сразу же сдался безоговорочно, будучи тогда не в силах ни дать ему бой, ни усмирить его ни в коей мере. Едва к нему вернулось его всегдашнее спокойствие, он почел за лучшее начать нескончаемые речи, став позади сонма ярких глаз и алых щечек, чтобы путем той или иной хитрости добиться, если повезет, внятного словечка от той, чья скромность и молчание взволновали его до глубины души. Но когда он уже готов был вновь пройти через всю комнату, чтобы исполнить свое намерение, то услышал голос матери, весело зовущей его к себе, и, повер-

нувшись, увидал, что она уже закуталась в шаль и надела шляпку. Желая остаться, он, тем не менее, не успел выдумать благовидного предлога, а потому, укротив свое возбуждение, он отвесил всем торопливый прощальный поклон и вышел вон под руку с матерью.

Несколько минут они шли домой в полном молчании, затем его мать заговорила:

– Ну, Пьер, что же это может быть!

– Боже, матушка, значит, и вы ее увидели!

– Сын мой! – воскликнула миссис Глендиннинг, вдруг остановившись в ужасе и вырвав свою руку от Пьера. – Что... что, ради всего святого, нашло на тебя? Вот что самое странное! Я всего лишь в шутку спросила, о чем ты так напряженно думаешь, и вот ты делаешь мне этот непонятнейший вопрос, да еще таким голосом, словно он идет из могилы твоего прапрадеда! Что, во имя неба, это значит, Пьер? Почему ты столько молчал и почему теперь говоришь невпопад? Отвечай мне... объясни все это... она... она... о какой еще *ней* можешь ты думать, как не о Люси Тартан?.. Пьер, берегись, берегись! Я-то думала, ты тверже хранишь верность своей возлюбленной, и никак не ждала того непостижимого поступка, на который ты как будто намекаешь. Отвечай мне, Пьер, что это может значить? Не медли, я ненавижу тайны; говори, сын мой.

По счастью, такая длинная многословная тирада, в кою вылилось удивление его матери, позволила Пьеру оправиться после двух приступов паники, что накатили на него один за другим: сначала он подозревал, что мать также поразилась красоте таинственной девушки, а после, когда эту мысль яростно отвергли, он смутился от ее неприкрытой и понятной тревоги, что она поймала его на неких переживаниях, которые уж никак не могла с ним разделить.

– Это все пустое... пустое, сестра Мэри, самый ничтожный пустяк на свете. Думаю, я просто грезил... спал с открытыми глазами или что-то в этом роде. До чего ж милостивы те девушки, которых мы видели сегодня вечером, не правда ли, сестра? Идем, продолжим путь, сестра моя.

– Пьер, Пьер!.. Ну, я вновь приму твою руку... неужто тебе больше нечего сказать мне? Неужто ты, Пьер, только летал в мечтах?

– Я клянусь тебе, дражайшая матушка, что никогда прежде во свою жизнь не было у меня такой глубокой задумчивости, как ту самую минуту. Но теперь все прошло. – Затем Пьер сменил тон на менее серьезный и добавил игриво: – А еще, сестра моя, если ты хоть немного знакома с медицинскими и поучительными трудами иных авторов, тебе должно быть известно, что только одно лечение возможно в том случае, когда речь идет о безобидном мимолетном заблуждении, кое подходит любому, – игнорировать сей предмет. Поэтому ни слова больше об этих глупостях. Продолжение нашей беседы только сделает из меня непроходимого глупца и не даст ни малейшей уверенности, что мною вновь не завладеют прежние мечты.

– Ну, тогда, вне сомнений, мой дорогой мальчик, нечего об этом и говорить. И все-таки странно... очень, очень странно. Что же твоя утренняя прогулка, какова была? Расскажи мне обо всем.

## II

Так Пьеру, который отдался с готовностью этому благоприятному течению разговора, удалось проводить мать домой, не дав ей дальнейших поводов к удивлению или беспокойству. Но не так-то легко ему было унять собственные беспокойство и удивление. Слишком близкими к истинной правде, какую бы расплывчатой она в то время ни казалась, были его глубокомысленные слова, которыми он отвечал своей матери, что никогда еще во всю свою жизнь не ведал он столь глубокой задумчивости. Двойница преследовала его, как образ некой молящей и прекрасной, пламенной и совершенной Мадонны, что преследует художника, который и страстно того жаждет, и увлечен, но вечно пребывает в недоумении. И каждый раз, когда таинственная

двойница приходила ему на ум, новое впечатление волновало его; высокий, резкий, длинный девичий крик снова и снова звенел у него в ушах, ибо ныне ему было ведомо, что это кричала двойница – только таким криком Дельфийского оракула и могло кричать подобное существо. И к чему сей крик? – думал Пьер. Сулит ли он зло двойнице, или мне, или обоим? Или я зверь лесной, что один мой вид сеет всюду такой страх? Но он больше грезил о самой двойнице – о девушке, образ коей неотразимо влек его к себе. А крик казался лишь эхом, что и пристало-то к ней случайно.

Те чувства, что ныне волновали его, видимо, пустили глубочайшие корни и раскинули сеть тончайших волоконцев во всем его существе. И чем больше они разрастались в нем, тем больше он тяготился их странной непостижимостью. Что ему одна незнакомая грустноглазая девушка да ее крик? Должно быть, на свете еще немало грустноглазых девушек, и это лишь одна из многих. И что ему эта прекраснейшая грустноглазая девушка? Как печаль могла пленить его настолько, ничуть не меньше, чем жизнерадостность, – тут он и вовсе терялся, сиюсь разрешить это противоречие. «Хватит с меня этой страсти», – хотелось ему возопить, но тогда, в тихом сиянии своей божественной красоты, двойница с молящим, страдающим взором сама собою возникала пред ним.

Прежде я не принимал всерьез, мыслил Пьер, все те рассказы о загадочных потусторонних гранях человеческой природы; весь мой жизненный опыт учил верить лишь тем милым призракам, у коих таинственные покровы скрывают живые пленительные формы и трепещут от горячего дыхания, и верил я только в плоть и кровь. А теперь!.. теперь!.. и он вновь принимался за самые изощренные и мистические рассуждения, что заглушали ропот разума, призывающего разобраться же наконец в своих чувствах. Но потемками для него обернулась собственная душа. Он ощущал, как незыблемые земли его подлинной яви ныне неуклонно окружают знаменосные армии, где в строю маршируют мрачные фантомы в опущенных капюшонах, которые разом высыпали на берег его души, словно из некоей призрачной флотилии.

Власы двойницы не были змеями Горгоны, и поразила она его вовсе не каким-то отталкивающим безобразием, а своей несказанной красотой да терпеливым, безнадежным страданием.

Но он сознался себе, что это впечатление, вполне понятное, выбило, однако же, почву у него из-под ног, ибо двойница будила в нем самые затаенные и запретные мечты и своим властным молчаливым призывом расшатывала саму основу его духовной жизни, мешая ему вывести на подмостки правду, любовь, сострадание, совесть. «Воистину чудо из чудес! – думал Пьер. – Дивное диво, из-за которого спокойный сон стал у меня редким гостем». Нигде ему не было спасения. Он пытался бормотать себе под нос, облачаясь в пижаму, – это не сработало. Он пытался бежать прочь от двойницы по залитым солнцем лугам – все было напрасно.

Самым непостижимым из всего оставалось для Пьера смутное подозрение, что такие черты лица он уже видел где-то прежде. Но он не смог бы сказать где именно; и не имелось у него о том ни малейшего предположения. Знал он случаи – да и сам не единожды это испытал, – что порою мужчина, видя, как мимо него по улице проходит некая соблазнительная особа, на краткий миг вспыхивает к ней властным и необоримым влечением, вовсе и не зная, кто она, а только повинувшись неясному воспоминанию о неких туманных чертах той, кого он видел прежде в своих мечтах, в то время когда такие встречи для него в жизни и составляли весь ее смысл. Но совсем не то ныне занимало Пьера. Двойница не была милым видением, что пленяет нас несколько кратких минут, а потом ускользает с тем, чтоб никогда не возвратиться. Она всегда витала рядом с ним, и отогнать он ее мог – и то не всегда, – только собрав в кулак всю свою решимость и силу воли. И потом, воспоминание о ее несказанной красоте, что таилось до времени среди прочих ярких впечатлений, ныне, казалось, сгустилось и обрело форму острого копья, пронзающего ему сердце нестерпимой болью всякий раз, как его охватывало известное душевное волнение – назовем это так, – туманило ему голову мечтами о тысяче славных деяний

давно минувших лет, приправляя все это старыми семейными сказками о его предках, из коих многие уже давно покоились в могиле.

Ни словом не обмолвясь о своих необузданных мечтах ни матери, ни другим домашним, Пьер двое суток пытался отогнать от себя надоедливый призрак; и наконец он столь счастливо очистил душу от всякой скверны и столь счастливо обрел свое прежнее хладнокровие, что некоторое время жизнь его текла по-старому, словно то странное волнение и не мучило его никогда. Вслед за тем пленительные и сладостные мысли о Люси незаметно заполнили его сердце, вытеснив оттуда все мрачные тени. Вслед за тем он стал вновь скакать верхом и заниматься джигитовкой, гулять пешком и переплывать стремнины и с новым пылом вернулся к своим достойным занятиям всеми теми мужскими искусствами, которые так страстно любил. При взгляде на него начало уж казаться, что он, прежде чем дать брачный обет всегда защищать, равно как и любить свою Люси, решил сперва набраться как можно больше сил и стать благородным обладателем таких внушительных мускулов, чтобы при случае отвоевать Люси у всего обитаемого мира.

Однако же даже до того, как двойница снова возникла перед ним, Пьер, несмотря на все упорное рвение, проявляемое им в гимнастике и прочих занятиях, был ли он дома или на свежем воздухе, держался ли правил или нарушал их, все же не мог подавить в душе тайного раздражения и некоторого смятения оттого, что вынужден, впервые на своем веку, не только скрыть от матери свой единственный проступок (который, мнилось ему, был не более чем простительной оплошностью; да к тому же, как мы увидим далее, он вполне мог бы отыскать подлинный пример для подражания, если бы начал копаться в прошлом), но также, сверх того, уклониться, нет, отклонить все расспросы, а по сути в его ответе прозвучало нечто, тревожно похожее на выдумку, и это на прямой-то вопрос, заданный матерью; вот что припомнилось ему теперь, при строгом разборе, из разговора, что он вел с матерью в тот богатый событиями вечер. Он сделал еще тот вывод, что его уклончивый ответ не вырвался у него неволью, под влиянием минутной слабости. Нет, его мать повела бесконечные речи, а он между тем – он хорошо это помнил, – дрожа, в спешке, ломал голову над тем, как бы этак свернуть разговор в сторону от неприятной и опасной темы. Отчего все так вышло? Неужели этого он и хотел? Кем было то таинственное создание, что покорило его с такой внезапностью и сделало из него лжеца – да, лжеца, ни больше ни меньше, – да еще перед матерью, которую он уважал и горячо любил? Вот где притаился корень всех его зол, вот в чем была причина его величайших нравственных терзаний. Но, как бы то ни было, по дальнейшем размышлении он пришел к мысли, что согласился бы на иной исход дела с большой неохотой; с большой неохотой разоблачился бы он теперь перед матерью. Опять же, отчего так вышло? Неужели этого он и хотел? Вот где, опять же, была пища для размышлений о мистике. Вот когда в его душе стали тихонько тренькать предостережения, сомнения, предположения, и Пьер понемногу начал понимать ту истину, кою все зрелые мужи, наделенные мудростью, постигают рано или поздно, кто в большей, а кто в меньшей степени, – что далеко не всегда человек сам кует свое счастье. Но сие соображение рисовалось Пьеру в тусклых красках, а известно, что неясность всегда тяготит нас и вызывает подозрение, и потому Пьер с отвращением отпрянул от зияющей преисподней, что разверзлась в его мыслях, где на самом дне томилась сия нарождающаяся склонность, которая звала его к себе. Только одну мысль он лелеял, не делаясь ею ни с кем; только в одном он был твердо убежден: в том, что в мире загробном он бы уж точно не избрал мать себе в наперсницы, дабы поведать, что временами на него находит некий мистический дух.

Но то необъяснимое колдовское очарование, с коим двойница в эти два дня впервые и прочно опутала его душу, ужели это очарование удержало растерянного Пьера от самого простого и легкого пути узнать правду, что мешало ему смело отправиться на поиски и возвратиться в знакомый дом, узнать ее по внешности или голосу и расспросить обо всем ее саму, ту таинственную девушку? Нет, мы не можем сказать, что Пьер совсем уж ничего не пред-

принимал. Но он запылал безграничным любопытством и участием ко всему этому, как ни странно, не ради самой мрачной красавицы смуглянки, а скорее под воздействием флюидов таинственности, что струились от нее, возбуждая в его мыслях некую сумятицу. Вот где таилась неразрешимая загадка, вот *от чего* Пьер бросался без памяти прочь. Возникнув извне, ни одно дивное чувство не властно затронуть в нас душу, пока где-то в глубинах нашего существа не шевельнется к нему любопытство. Только если звездный свод прольет на нас золотой дождь неслыханных чудес, наше сердце наполнится ими с избытком, ибо мы и сами – величайшее чудо и загадка более блистательная, чем все звезды во Вселенной. Чудеса сливаются воедино, а в нас родится смущение. У нас-то ведь не больше оснований для самомнения, чем у лошадей, псов или кур, что всегда стоят много ниже нас с нашим бременем небесного величия. Но своды наших душ не очень-то годятся для такого гнета, и верхняя арка еще не пала нам на головы лишь потому, что ее кое-как поддерживает шаткая концепция непостижимости. «Поведайте мне ту глубочайшую тайну, что во мне сокрыта, – взывал к небесам скитавшийся по полям халдейский царь, возлегая на росистых лугах и бия себя в грудь, – и тогда я отдам все свои богатства вам, о вы, горние звезды»<sup>54</sup>. Так же до некоторой степени рассуждал и Пьер. «Поведай мне, откуда взялось то странное чувство, что пребывает со мной неизменно, – думал он, обращаясь к пленительной двойнице, – и тогда я отрекись от любого другого дива, чтобы смотреть с восхищением на одну тебя. Но ты пробудила во мне силы, куда более могучие, чем те, что вызвали тебя, двойница, к жизни! Ты для меня всегда пребудешь лишенным покрывала бессмертным ликом тайны, молящим, но безгласным, который покоится в основе всего обозримого времени и пространства».

Но в эти первые два дня его безграничной покорности своим истинным чувствам Пьер не был свободен и от других желаний, куда менее таинственных. Два или три весьма простых и прозаических соображения о подходящих маневрах в случае, если дело дойдет до неких возможных объяснений домашним всего этого вздора, как он про себя вскользь бранил свои мысли, – сии соображения, порхая в его мозгу, подчас знаменовали для него передышку в том состоянии полусумасшествия, коим понемногу проникалась его душа. Случилось ему однажды схватить шляпу, позабыв привычные перчатки и трость, вихрем вылететь из особняка и опомниться уже на улице, пройдя очень быстрым шагом половину пути к коттеджу двух мисс Пенни. Но теперь-то куда? – спросил он себя, окончательно отрезвившись. Куда ты пойдешь? Миллион к одному, эти глухие старые девы ничего не скажут тебе о том, что ты жаждешь услышать. Глухим старым девам никогда не поверяют такие мистические секреты. Но все же, быть может, им известно ее имя, где она живет, а также, какими бы обрывочными и неблестящими ни были их сведения, что-то о том, кто она и откуда. Да, но все же, как только за тобою захлопнется дверь, уж через десять минут во всех домах Седельных Лугов будут жужжать сплетни о Пьере Глендиннинге, который хоть и обручился с Люси Тартан, а смотрите-ка, еще рыскает по графству, занятый двусмысленными поисками таинственных молодых женщин. Это никуда не годится. Неужто ты не помнишь, что часто видел двух мисс Пенни, как они, простоволосые и без шалей, спешили по деревне, словно два почтальона, полные решимости поделиться какими-нибудь сочными подробностями пикантных сплетен? Что за лакомое блюдо для них будешь ты, Пьер, нанеси ты им нынче визит. Правду молвить, тот витой рог, что был у обеих пристегнут к поясу, служил разом и слуховым рожком, и трубою глашатая. Пусть две мисс Пенни были почти совсем глухи, но немыми они отнюдь не были. О каждой новинке они трубили на весь белый свет.

«Смотри же, скажи непременно, что это были мисс Пенни, кто передал известья... скажи непременно... мы... мисс Пенни... запомни... скажи миссис Глендиннинг, что это были мы».

<sup>54</sup> Возможно, Мелвилл имеет в виду библейского царя Навуходоносора, который обращался к пророку Даниилу с просьбой растолковать ему сон, обещая взамен неисчислимые сокровища.

Вот какое устное послание память не без иронии подсказала Пьеру, послание, что некогда одним вечером доверили ему почтенные сестры, старые девицы, придя в особняк с порцией самых свежих и отборнейших новостей, которые приберегали для того, чтоб составить изысканную, *avec la recherche*, светскую беседу с его матерью, но не застали дома царственную леди и потому пересказали все ее сыну, спеша дальше, в каждый дом округи, дабы везде появиться с вестями самыми первыми.

«Желал бы я, чтоб все произошло в любом другом доме, но не у двух мисс Пенни, в любом другом доме, но только не у них, ибо я всей душой верю, что мне нужно прийти. Но не к ним... нет, этого я сделать не могу. Вне сомнений, сплетня очень быстро достигнет ушей моей матери, и тогда она сложит два и два... немного встревожится... решительно рассердится... и навсегда распрощается со своим горделивым убеждением в моей голубиной чистоте. Терпение, Пьер, в нашей округе не так уж много жителей. Не в густых толпах Ниневии затерялась она, где меж людей стирается всякое различие. Терпение, ты с ней еще повидеешься, поймаешь ее, когда она будет идти мимо тебя какой-нибудь зеленой тропкой, совсем как в твоих ночных мечтах. Та, что хранит сию тайну, не может жить в дальних краях. Терпение, Пьер. Такие тайны, в конечном счете, наилучшим и скорейшим образом всегда сами же себя и выводят на чистую воду. Или, если тебе угодно, ступай назад и возьми перчатки, да не забудь также и трость, а тогда отправляйся инкогнито в сей вояж в поисках разгадки. Возьми свою трость, слышишь, ибо, скорее всего, тебе предстоит очень долгая и утомительная прогулка. И вправду, я лишь теперь смекнул, та, что хранит сию тайну, не может жить в дальних краях, но притом ее близкое соседство вовсе не будет бросаться в глаза. Стало быть, поворачивай-ка ты обратно да снимай шляпу и оставь трость стоять на месте, мой добрый Пьер. Не искушай неведомое, запутывая все еще больше...»

Так Пьер и бросался от одного к другому в эти печальные два дня, что стали для него днями величайших душевных мук: он то пытался себя усовестить, то сам с собою спорил; и так как поведение его было чрезвычайно благоразумно, он укротил все свои невольные всплески чувств. Безусловно, мудро и правильно было то, как он держался, безусловно, но в мире, как наш, где бесчисленные двусмысленности подстерегают нас на каждом шагу, никто не может с уверенностью ручаться, что поступки другого, какими бы осторожными и взвешенными они ни были с точки зрения добродетели, непременно приведут к возможному наилучшему исходу.

Но когда эти два дня миновали и Пьер понемногу стал узнавать себя прежнего, словно вернулся из какой-нибудь таинственной ссылки, в ту пору его замыслы заняться собственнолично и открыто разгадкой тайны, сузить ли ему круг поисков, заявившись с визитом к двум старым девам, или же, напротив, расширить его, обойдя пешком целое графство да осмотрев зорким глазом все, не пропуская ни единой былинки, словно инквизитор, который с коварством гадюки скрывает до последнего причину своих расспросов, – эти мысли и все им подобные, наконец, оставили Пьера в покое.

Он стал трудиться без устали, призвав на помощь всю силу своего разума, дабы прогнать призрак навеки прочь. Казалось, он осознал, что всякий раз при виде двойницы в его груди просыпалась неясная тоска, которая, как ни крути, была ему вовсе не свойственна и непривычна его обычному расположению духа. Ее окутывал ореол страдания, и он боялся даже представить, какие, с позволения сказать, бедствия таит оно в себе, ибо в своем тогдашнем неведении он не мог найти для них лучшего слова; казалось, двойница сеет за собою семена лихих невзгод, которые, если не поспешить истребить их на корню, способны отравить и наполнить горечью всю его жизнь – ту счастливую жизнь, которую он выбирал, давая Люси святую и искреннюю клятву верности, что было для него одновременно и жертвой, и наслаждением.

И эти его усилия не прошли совсем бесследно. Прежде всего, он чувствовал, что приобрел власть над появлениями и исчезновениями двойницы, вот только повиновалась она ему не всегда. Случалось, былая, прежняя мистическая сила все еще пробовала над ним свою тира-

ническую власть: длинные локоны черных волос мрачным водопадом низвергались на него, и вместе с ними чудная меланхолия вкрадывалась в его душу, глубокие неподвижные глаза, прелестные и полные скорби, струили свое дивное сияние, пока он не начинал чувствовать, что их лучи воспаляют, но ему не дано было выразить словами, что за мистический огонь стремились они зажечь в его сердце.

В один прекрасный день это чувство всецело им овладело, и Пьер повис над пропастью. Ибо, несмотря на то что оно было непостижимым для его ума, оно взывало к самым высоким устремлениям его души, была в этом ощущении своя отрадная печаль, и ею он упивался. Незримая фея парила над ним в небесной дали, осыпая его прекраснейшими перлами меланхолии. Вот когда – один-единственный раз – пожелал он, чтоб о его секрете узнала хоть одна живая душа на белом свете. Одна живая душа, никто больше, ибо ему стало невозможно хранить долее в себе эту странную тайну. Необходимо было открыться кому-нибудь. И в такой час ему довелось повстречать Люси (ту, кого из всех прочих он откровенно боготворил), а потому она-то и услышала историю двойницы; вовсе не спала она в ту ночь, долго и тщетно пыталась уйти в подушку от диких, бетховенских звуков вальса, которые ветер заносил издалека, словно переменчивые духи танцевали на вересковой пустоши.

### III

Наша история то мчится вперед, то возвращается назад по воле случая. Придется вам схватывать все на лету и проявлять большую сноровку, чтобы поспеть за мной. Возвратимся же к Пьеру, что спешит домой, очнувшись от тех грез, что посетили его под кроной величавой сосны.

Он воспылил гневом на великого итальянца Данте за то, что в прежние времена тот стал первым поэтом, кто открыл его трепещущему взору бесчисленные скалы и бездны человеческих тайн и страданий; хотя, в некотором смысле, то было скорее эмпирическое восприятие, чем сенсуальное предчувствие или познание (ибо в те дни его взору не дано было проникнуть в земные глубины и воспарить к небесам, подобно взору Данте, а потому он оказался совершенно не готов сойтись с суровым поэтом честь честью, вознесясь в области мысли, где тот находил для себя полное раздолье), эта буря невежественного гнева юнца была всплеском той неприязни, что несла в себе примесь презрения и антипатию эгоиста, с которой все хилые по природе своей или дремучие умы относятся к мрачной поэзии величайших творцов, что всегда вступает в противоречие с их собственными, легкомысленными, пустыми мечтами беззаботной или же благоразумной молодости; таковая опрометчивая, простодушная вспышка юношеского раздражения Пьера словно унесла с собою прочь все другие личины его меланхолии – если то и впрямь была меланхолия – и вернула ему безмятежность, и он вновь был наготове в ожидании всевозможных мирных радостей, что могли еще быть отпущены ему по милости богов. Ибо нрав его был воистину сама молодость, вместе с ее грустью, кою она меняет на радость с превеликой охотой да после подолгу медлит, стремясь задержаться в том радостном состоянии, если уж оно завладело ею вполне.

Когда он вошел в обеденный зал, то увидел Дэйтса, который удалялся в другую дверь со своим подносом. Одинокая и погруженная в свои думы, сидя у стола с той стороны, где взору открывалась голая столешница, его мать скучала за десертом; перед нею стояли фруктовые пирожные-корзиночки и графин. На другой половине стола скатерть все еще лежала отогнутой, чистая тарелка и прибор помещались там же.

– Присядь, Пьер; вообрази мое удивленье, когда я, придя домой, услышала, что фаэтон воротился обратно столь рано, и все сидела здесь, ожидая тебя к обеду, пока не устала ждать. Ступай-ка ты живо в зеленую буфетную да возьми то, что Дэйтс там припас для тебя. Э-эх! Тут и толковать нечего, я предвижу наперед – не станет более в Седельных Лугах урочных часов ни

для обеда, ни для чая, ни для ужина, пока молодой владелец поместья не сочетается браком. И это мне кое-что напоминает, Пьер, но о том ни слова, пока ты не отправишь в рот первый кусок. Да будет тебе известно, Пьер, если будешь продолжать в том же духе, станешь трапезничать, когда душа пожелает, и лишишь меня почти полностью своего общества, мне грозит пугающая участь обратиться в безнадежную винопийцу... да, неужели тебя не пробирает холодная дрожь, когда ты видишь, как я сижу здесь, совсем одна, с этим графином, словно какая-нибудь старуха кормилица, Пьер, какая-нибудь одинокая, всеми забытая кормилица, Пьер, которую покинул ее последний друг... и посему она с горя обнимается с бутылкой?

– Нет, на сердце у меня не лежит никакой великой тревоги, сестра, – молвил Пьер с улыбкой, – ибо, смею заметить, ваш графин пока полон до самой пробки.

– Так, быть может, это всего-навсего еще один графин, Пьер, – вслед за тем его мать вдруг произнесла изменившимся голосом. – Попомните мои слова, мистер Пьер Глендиннинг!

– Слушаюсь, миссис Мэри Глендиннинг!

– Знаете ли вы, сэр, что в весьма скором времени женитесь, что день уже почти назначен?

– Как?! – закричал Пьер с неподдельною радостью, не веря своим ушам, как из-за самих новостей, так и из-за того серьезного тона, в коем их преподнесли. – Дорогая, дорогая маменька, значит, вы чудесным образом переменились во мнении, моя дорогая маменька.

– Так тоже бывает, дорогой брат... месяца не пройдет с нынешнего дня, и, надеюсь, я обрету милую сестренку Тарган.

– Вы ведете неслыханные речи, маменька, – тотчас же отвечал Пьер. – Тогда, полагаю, более мне нечего прибавить!

– Нечего прибавить, Пьер! И впрямь ты-то сам какое можешь молвить разумное слово? В чем же влияние твое на ход событий, что всего лишь следуют своим чередом, хотелось бы знать. Ты все еще не очнулся от грез, глупый ты мальчик, и воображаешь, что все мы женимся по своей воле? Близкое соседство женит людей. На всем белом свете есть только одна сваха, Пьер, и имя ей миссис Близкое Соседство, леди самой скверной репутации!

– Вот так беседа, очень подходящая, пробуждающая от грезы, да по такому поводу, сестра Мэри. – Он отложил вилку в сторону. – Миссис Близкое Соседство, каково! И, по-вашему, маменька, наша безграничная, прекрасная любовь друг к другу только этому и обязана?

– Только этому, Пьер, но запомни как следует: по моему искреннему убеждению, хотя здесь мои представления сокрыты туманной дымкой, миссис Близкое Соседство двигает свои пешки, только когда поддалась очередной своей прихоти.

– А! Значит, я могу перевести дух, – отозвался Пьер, снова берясь за вилку. – Я чуть было не лишился аппетита. Но можно ли услышать подробнее о вашем намерении в скором времени устроить мой брак? – добавил он, прилагая напрасные усилия, чтобы его слова прозвучали скептически и равнодушно. – Вы, верно, говорили в шутку; мне кажется, сестра, вы и я несколько разошлись во взглядах на сей предмет. Неужели вы наконец и вправду дадите нам свое благословение? И неужели вы вправду поборолли все ваши благоразумные сомнения без какой-либо посторонней помощи, и это после того, как я столь долго и без толку молил вас о том же? Ну, мою душу переполняет миллион восторгов; не томите меня, скажите!

– Так я и поступлю, Пьер. Ты знаешь не хуже меня, что с того первого часа, как ты объявил мне все – или скорее начиная со времени, что ему предшествовало, – с той самой минуты, как я материнским чутьем стала подозревать о твоей любви к Люси, я сразу же это одобрила. Люси – прелестная девушка, она благородного происхождения, богата, благовоспитанна, и, думаю, она образец всех тех совершенств, какие только могут сделать девушку любезной сердцу и привлекательной в ее семнадцать лет.

– Так, так, так, – закричал Пьер, торопясь и в горячке, – нам это было известно и прежде.

– Так, так, так, Пьер, – возразила его мать с издевкой.

– Нет, не «так, так, так», а дурно, дурно, дурно так пытаться меня, маменька; ну, продолжайте же!

– Но несмотря на то, что мое восхищенное одобрение всегда было с твоим выбором, Пьер, все же, как ты знаешь, я долго сопротивлялась твоим настойчивым мольбам даровать свое благословение на скорый брак, поскольку пребывала в убеждении, что не годится девушке, коей едва есть семнадцать, и молодому человеку, коему едва есть двадцать, связывать себя брачными узами в такой спешке... у вас впереди еще много времени, думала я, которое вы оба могли бы употребить с большей пользой.

– Тут я позволю себе прервать вас, маменька. Что бы вы там ни подметили во мне, она – я говорю про Люси – ни разу, ни единым словом не намекнула мне, что торопится к венцу, вот все. Но вы, без сомнения, скажете, что это просто *lapsus-lingua*<sup>55</sup>.

– Разумеется, *lapsus*. Но выслушай меня. В последнее время я, соблюдая осторожность, глаз не спускала с тебя и Люси, и это заставило меня поразмыслить о вашем будущем. Ну, Пьер, будь у тебя хоть какое-то ремесло или собственное дело... нет, будь я фермерской женою, а ты, мое дитя, принужден бы был трудиться на моих полях; что ж, тогда вам с Люси пришлось бы ждать немного долее. Но так как ты ничем не связан, то проводишь все свои дни, думая об одной Люси, а по ночам мечтаешь о ней же, да и она, судя по всему, ведет в точности такую жизнь, отвечая на твои чувства; и вот уж последствия всего этого начинают сказываться в известной, явственной и совсем не опасной, скажем так, впалости ваших щек, да еще в примечательном и весьма опасном, лихорадочном блеске ваших глаз; и посему из двух зол я выбираю меньшее, я дарую тебе свое согласие на ваш брак, и подготовка к нему будет идти со всей поспешностью, какая подобает в таких обстоятельствах. Полагаю, что предложение обвенчаться до наступления Рождества вы не станете встречать возражениями, ведь нынешний месяц – самое начало лета.

Пьер, не промолвив ни слова, вскочил на ноги, схватил мать в объятия и многократно поцеловал.

– Самый приятный и красноречивый ответ, Пьер, однако вернись на свое место. Нам еще нужно обсудить кое-что – есть вопросы, не слишком занимательные, но требующие внимания, чтобы все устроилось должным образом. Как ты знаешь, по завещанию твоего отца, эти земли и...

– Мисс Люси, моя леди, – провозгласил Дэйтс, открывая дверь.

Пьер живо вскочил, но, словно сразу же почуяв спиною взгляд матери, постарался унять свое волнение, хоть и приблизился, тем не менее, к дверям.

Вошла Люси, неся корзиночку, полную клубники.

– О, как поживаешь, моя дорогая? – сказала миссис Глендиннинг с нежностью. – Вот неожиданная радость.

– Вы правы, и, сдается мне, Пьер тоже слегка озадачен – это же он был зван ко мне на вечер, и видит, что солнце еще не село, а я сама пришла к вам. Но мне вдруг вздумалось прогуляться в полном одиночестве: погода после полудня стояла такая чудесная; и когда я случайно – поверьте, то была чистая случайность – проходила Тропую Саранчи, что ведет сюда, то наткнулась на престранного маленького мальчика с этой самой корзиной в руках. «Да, мисс, вот вы ее и купите», – сказал он. «С чего ты взял, что куплю? – возразила я ему. – Не стану я ее покупать». – «Да, мисс, вы купите; она стоит двадцать шесть центов, но вам я отдам за тринадцать, и ничего не возьму себе за труды. Знаете, я все мечтал, чтоб у меня завелись мелкие монетки по полцента. Скорей, я не могу тянуть, и так уж долго вас прождал».

– Какой сметливый маленький бесенок, – рассмеялась миссис Глендиннинг.

– Дерзкий маленький негодник, – воскликнул Пьер.

<sup>55</sup> *Lapsus-lingua* (лат.) – оговорка.

– Ну, и я-то сама разве не глупей всех глупышек, если рассказываю свои приключения вот так просто? – улынулась Люси.

– Нет, то сама божественная чистота, – закричал Пьер в порыве неумеренного восторга. – Цветок так же простодушно раскрывает свои лепестки, ибо скрывать ему нечего.

– А теперь, моя милая маленькая Люси, – сказала миссис Глендиннинг, – позволь Пьеру взять твою шаль да оставайся у нас, выпей чаю. Стало быть, Пьер отложит свой ужин, так как время вечернего чая вот-вот наступит.

– Сердечно благодарю, но на сей раз я не могу остаться. Подумать только, я едва не упустила из виду, зачем вас посетила; я принесла эту клубнику вам, миссис Глендиннинг, и Пьеру, ведь Пьер всегда кушает ее с таким удовольствием.

– У меня хватило дерзости предположить именно это, – воскликнул Пьер, – для вас *и* меня, вы слышите, маменька, для вас *и* меня, надеюсь, вы понимаете.

– Прекрасно понимаю, дорогой брат.

Люси покраснела:

– Как это тепло звучит, миссис Глендиннинг.

– Очень тепло, Люси. Так ты не желаешь остаться на чай?

– Нет, мне уже пора возвращаться, это была совсем коротенькая прогулка, до свидания! Нет, не провожай меня, Пьер. Миссис Глендиннинг, не удержите ли вы Пьера подле себя? Знаю, вы хотите, чтоб он остался: вы же прервали беседу о каком-то домашнем деле, когда я вошла; вы оба смотрели подлинными заговорщиками.

– И ты недалеко от истины, Люси, – промолвила миссис Глендиннинг, ни тоном, ни жестом не обнаружив желая задержать ее.

– Да, дело величайшей важности, – сказал Пьер, останавливая на Люси многозначительный взгляд.

В то самое мгновение, когда Люси должна была вот-вот уйти, она помедлила у дверей; и лучи закатного солнца, что лились из окна, облекли ее фигурку прелестным золотым сиянием, а на ее чудесные живые черты, ясные и чистые, как у всех выходцев с Уэльса, легла нежная краска, словно алое зарево на снежный покров. Ее белое, украшенное голубыми лентами платье ниспадало свободными складками и прекрасно облегалo ее фигуру. Пьеру едва не показалось, что лишь одним путем может она покинуть особняк – упорхнуть в открытое окошко, а не просто выйти в двери. Весь ее облик в ту минуту говорил ему о ее несказанной радости, о том, что она полна сил, что беззащитна и таинственно эфемерна.

В юности мы не склонны предаваться зрелым философским размышлениям. Голову молодого Пьера не посещали мысли о том, что если расцветшая роза остается прекрасной всего только день, то и пора весеннего цветения девушки, ее стройность, ее свежесть промелькнут и исчезнут почти столь же скоро, словно бережливые силы природы с завистью поглощают их, дабы после воссоздать и пробудить к жизни новую девичью весну, питая те цветочные бутоны, что развертывают лепестки первыми. У молодого Пьера в ту пору не рождались мысли, что навевают величайшую печаль; он не размышлял о неизменной бренности всякой земной красоты, о том, что самые пленительные живые создания идут в пищу всепоглощающей и ненасытной меланхолии. Мысли Пьера не были таковы, но все же приходились несколько сродни этим.

И она станет моею женою? Я, кто на днях взвесился и узнал, что во мне сто пятьдесят фунтов живого веса<sup>56</sup>, я возьму за себя ее, легкую, как небесный пух? Сдается мне, и одного супружеского объятия хватило б, чтобы сломать ее хрупкое тело, и она исчезнет, словно дым,

---

<sup>56</sup> Точнее, 150 фунтов согласно принятой в Великобритании и США системе мер и весов эвердюпойс (англ. avoirdupois). Это система мер веса, в которой 1 фунт равен 0,453 592 37 кг, в то время как в метрической системе 1 фунт – 0,500 кг. И 150 фунтов в системе эвердюпойс (вес Пьера) это 68 кг. Пьеру двадцать лет, и он увлекается гимнастикой, греблей, фехтованием, боксом. Для молодого человека его возраста и занятий это здоровый вес.

поднявшись вверх, к небесам, с которых сюда явилась, приняв человеческую форму, доступную взору смертных. Не бывать этому; я принадлежу тяжелой земле, а она – небесному эфиру. Небом клянусь, наше супружество – дело нечестивое!

Меж тем как эти мысли язвили его душу, миссис Глендиннинг занимали только ее собственные размышления.

– Что за прелестная *tableau*<sup>57</sup>, – воскликнула она наконец, слегка обернувшись, грациозно и с игривостью, – прелестная, право же; по-моему, все это было затеяно с умыслом меня развлечь. Орфей, находящий Эвридику, или Плутон, похищающий Прозерпину. Превосходно! Сюжет вполне годится и для того и для другого.

– Нет, – сказал Пьер мрачно, – это последнее из двух. Теперь, впервые в жизни вижу тут смысл.

«Да, – добавил он про себя, – я Плутон, похищающий Прозерпину, как и любой влюбленный, которому ответили взаимностью».

– И было бы очень глупо с твоей стороны, брат Пьер, упустить из виду еще кой-что, – промолвила его мать, все еще следуя своему ходу мыслей, что не совпадал с его. – А все дело вот в чем: Люси мне велела принудить тебя остаться, но сама только о том и мечтает, как бы ты ее проводил. Что ж, ты можешь проводить ее до крыльца, но затем должен вернуться, так как мы еще не пришли к согласию в отношении нашего домашнего дела, которое тебе хорошо известно. Прощайте, маленькая леди!

Нотки ласковой снисходительности всякий раз проскальзывали в голосе блистательной, цветущей миссис Глендиннинг, когда она обращалась к нежной и девически стыдливой юной Люси. По большей части она обходилась с нею так, как держалась бы в присутствии любого ребенка, что необыкновенно красив и развит не по годам, да Люси такой в точности и была. Отвлекаясь от настоящих событий и заглядывая в будущее, миссис Глендиннинг не могла не видеть, что Люси, даже достигшая женской зрелости, будет против нее все равно что ребенок, ибо она с ликованием в сердце чувала, что при ее-то неизменной интеллектуальной мощи, скажем так, она составляла полную противоположность Люси, которая была доброжелательной на словах и на деле, да в придачу еще отличалась нравом неслыханной кротости. Но вот тут-то миссис Глендиннинг была и права, и не права разом. Пока ее размышления занимали различия между нею и Люси Тартан, она шла по верному пути; но стоило ей возомнить – и тогда она свернула со своей тропинки в чащу, – что обладает перед Люси природным превосходством, занимая в обществе самую верхнюю ступеньку, тут-то как раз она очень глубоко и безмерно ошибалась. Ибо то, что можно выразить изящной фразой: «Ангельская кротость», есть не что иное, как высочайшая душевная стойкость, какая только свойственна разумному существу, а кротость ангела не несет в себе никакой грубой силы. И то чувство, которое нередко так и подталкивает нас применить какую угодно силу – возникло ли оно у мужчины, у женщины, все едино, это, по сути своей, прямо-таки непомерная гордость, – черта сия присуща одним смертным, а отнюдь не ангелам. И это ложь, что всякий ангел может найти свою гибель через гордость. Ангел никогда не погибнет, гордости же он не ощущает вовсе. Вот почему сердце ваше так благоволит да расточает свою благосклонность с неподдельной искренностью, о миссис Глендиннинг, и длит расположение ваше к легкой, как пушинка, Люси; но все же вы, леди, ошибаетесь, и притом весьма жестоко, когда большие полушария вашей гордой груди под злым корсажем распирает тайное торжество, а вы меж тем обращаетесь к той, кого с такой нежностью, приправленной, правда, изрядной долей снисходительности, величаете: «Моя маленькая Люси».

Но так как ни единый проблеск озарения не открыл ей вдруг всего, что неизбежно произойдет в дальнейшем, то сия превосходнейшая леди пребывала в полной безмятежности, ожи-

<sup>57</sup> *Tableau* (фр.) – картина, зрелище, сцена.

дая, когда же Пьер вернется, войдя в дверь портика, да предалась пока задумчивости, как подобало почтенной матроне, а взор ее тем временем отдыхал на стоящем перед нею графине, что был до краев полон янтарным вином. Так или иначе, видела ли, нет ли миссис Глендиннинг неявное иносказание, аллегорию, когда всматривалась в сей узкий и изящный маленький графин, в коем была ровно пинта<sup>58</sup> светлого, золотистого вина, мы с уверенностью не скажем. Но право же, странная, и незабвенная, и предсказуемо самодовольная улыбка, что разом придала ее просиявшему лицу благосклонное выраженье, казалось, говорила сама за себя о каких-то тщеславных думах, очень похожих на следующие: «...да, она очень хорошенькая девочка-графинчик, очень хорошенькая девочка-графинчик, что наполнена бледным шерри, а я... я как графин на кварту<sup>59</sup>... кварту... портвейна... крепкого портвейна! Ну, шерри для юношей, а портвейн для мужчин – я слышала много раз, как сами мужчины толковали об этом; и Пьер теперь еще мальчик; но когда его отец обвенчался со мною... что ж, в тот день его отец возмужал, и ему вмиг стало тридцать пять лет».

Немного позже до слуха миссис Глендиннинг долетел голос Пьера: «Да, во всяком случае, не позднее восьми часов, Люси... будь уверена», затем парадная дверь громко хлопнула, и Пьер вернулся к ней.

Но миссис Глендиннинг скоро убедилась, что этот неожиданный визит Люси свел к нулю всякую возможность серьезной беседы с ее переменчивым сыном; без сомнений, его опять утянуло на глубину в море размышлений столь приятного свойства, что не найдется слов достойно их описать.

– Великий боже! Как-нибудь в другой раз, сестра Мэри.

– Не в этот раз, тут уж никакого сомнения, Пьер. Ей-богу, надо бы мне похитить Люси да увезти ее до поры из наших мест, а тебя меж тем приковать наручниками здесь, у этого стола, не то нам с тобою никогда не прийти к предварительному согласию до того, как мы обратимся к адвокатам. Ну, я-то уж непременно позабочусь о том, чтоб голова твоя немного остыла. Прощай, Пьер, вижу, тебе теперь не до меня. Думаю, мы не увидимся раньше завтрашнего утра. По счастью, есть очень интересная книга, которую я хотела прочесть. Прощай!

Но Пьер еще не покидал своего места за столом; он любовался закатом, что тихо догорал по-над лугами и вызолотил далекие холмы. Чудесная, самой неспешностью чудесная и прекраснейшая вечерняя заря, казалось, обращалась напрямую ко всему человечеству, говоря: я угасаю в полном блеске лишь для того, чтобы поутру вновь воскреснуть, на радость всем; Любовь безраздельно царствует во всех мирах, где алеют зори, а истории о призраках – одна глупость, и страдания невозможны вовсе. Станет ли любовь, что всеильна, терпеть в своих владениях страдание? Станет ли бог солнечного света желать, чтобы все застлалось мраком? Это чистый, непорочный, кристальный мир, прекрасный во всех отношениях, – радость ныне и радость во веки веков!

И тогда двойница, что до сего мгновения, казалось, печально и с укоризной взирала на него из самого сердца лучезарного заката, двойница ускользнула от него прочь и растаяла, оставив его в покое и с радостью на душе, с мыслями о том, что уже сегодня вечером он пронесет заветные слова «Будь моей женой» перед своею Люси; и на всем белом свете не было счастливее юноши, чем Пьер Глендиннинг, который все сидел за столом, глядя, как медленно меркнет солнце уходящего дня.

---

<sup>58</sup> 1 амер. пинта для жидкостей равна 0,4732 л.

<sup>59</sup> 1 амер. кварта для жидкостей составляет 0,9463 л.

#### IV

После этого утра, что дышало весельем, этого полудня, отданного трагедии, а теперь вечера, что принес с собою столько радужных мыслей, в душе Пьера поселились радостное спокойствие и уверенность; и он вовсе не чувствовал того безудержного восторга, который в умах, что отличаются большей темнотой, слишком часто вытесняет сладкоречивую птицу Любви из ее гнездышка.

Сгустились теплые, ранние, но притом темные сумерки, ибо еще не взошла луна, а когда Пьер вступил под колеблющуюся сень длинных ветвей плачущих деревенских вязов, то его окружила почти непроглядная тьма, но не было ей доступа в чертоги его сердца, кои озарял нежный свет. Не прошел он и нескольких шагов, как впереди замаячил небольшой огонек, что плыл по противоположной стороне дороги и медленно приближался. Так как у некоторых пожилых и, возможно, боязливых жителей деревни давно уж вошло в обычай брать фонарь, выходя за порог свой в такую кромешную ночь, то сей предмет не возбудил никакого впечатления новизны в Пьере; однако же, видя, как огонек безмолвно подплывает к нему все ближе да ближе – единственное пятно света, что он различал пред собою, – то у него возникло неясное предчувствие, что огонек этот должен разыскивать именно его. Он уж почти достиг двери коттеджа, когда некто с фонарем пересек улицу, направляясь к нему, да своею ловкой рукой коснулся было затвора маленькой калитки, что, как он думал, ныне распахнется, открывая ему путь к несказанному счастью, но тут на плечо его легла тяжелая рука, и фонарь в тот же миг оказался у самого его лица, поднятый вверх безликим субъектом в опущенном капюшоне, который старался отвернуться от него и чьи черты он едва ли видел. Открытое же лицо Пьера тот, казалось, узнал в одну минуту.

– У меня письмо для Пьера Глендиннинга, – сказал незнакомец. – И думаю, это вы.

Одновременно с этими словами явилось письмо, и словно само всунулось в руку нашего героя.

– Для меня! – слабо закричал Пьер, вздрогнув от неожиданности, удивленный такой встречею. – Мне кажется, это неподходящее время и место, чтобы доставить ваше послание... Вы кто?.. Стойте!

Но, не дожидаясь ответа, посыльный повернулся к Пьеру спиной и уже переходил на другую сторону улицы. Поддавшись на миг первому побуждению, Пьер хотел было его догнать и едва не бросился за ним вслед, но, в душе подтрунивая над своею напрасной тревогой и любопытством, так и не тронулся с места и осторожно повертел в руке письмо. «Что ж это за таинственный корреспондент такой, – думал меж тем он, круговыми движениями глядя большим пальцем печать письма, – мне пишут лишь те, кто живет за пределами графства, и свои послания отправляют по почте, а что до Люси... э-э, нет!.. Когда она сама гостит тут, живет по соседству, станет ли она посылать записки, что доставят к ее же крыльцу. Что за странность! Но я войду к ней да там это и прочту... нет, не так... я затем появлюсь у нее, чтоб вновь читать в ее любящем сердце – в этом драгоценном послании, что передали мне небеса, – а сие глупое письмо только сбило бы меня с толку. И открывать не стану, пока домой не вернусь».

Пьер миновал калитку и уже прикоснулся было к дверному молотку. Резкий холод металла слабо обжег его пальцы, и в любое другое время это показалось бы ему несказанно приятным. Но при нынешнем – для него непривычном – расположении духа дверной молоток будто вещал: «Не смей входить!.. Удались да прочти сперва присланную тебе записку».

Внявши сему гласу, слегка встревоженный и слегка подшучивая над самим собою, над этими таинственными предостережениями, Пьер в полузабытьи отступил от двери коттеджа, вышел через калитку и вскоре возвращался прежним путем по тропинке, что вела к его дому.

Ни одной новой двусмысленностью он не дразнил себя более – густой мрак, разлитый в воздухе, ныне вторгся в его сердце и поглотил весь свет без остатка; и тогда, впервые за всю его жизнь, Пьер воочию в том увидел необоримое предостережение и перст судьбы.

Он вошел в холл незамеченным, поднялся к себе в комнату и торопливо запер дверь в темноте, зажег лампу. Когда вспыхнувшее пламя озарило комнату, Пьер стоял в ее центре, у круглого столика, где была лампа, пальцы его все еще сжимали медное кольцо, что регулировало фитиль, а сам он с дрожью рассматривал субъекта в зеркале напротив. Тот имел несомненное сходство с Пьером, но к сему образу ныне чудно примешивались черты, его искажавшие и прежде ему несвойственные: лихорадочное напряжение, страх и неясные признаки надвигающейся болезни! Он упал в кресло и какое-то время еще вел тщетную борьбу с той непостижимой силой, что поработила его. Наконец с видом отрешенности он вытянул письмо из-за пазухи, шепнув себе: «Постыдись<sup>60</sup>, Пьер! Какой овцою будешь ты в собственных глазах, когда сие важнейшее послание окажется приглашением на ужин этим вечером; и быстрее, глупец, пиши тогда обычный ответ: „Мистер Пьер Глендиннинг будет весьма рад ответить согласием на любезное приглашение мисс такой-то“...»

И все же он помедлил мгновение, избегая смотреть на письмо. Посланец заговорил с ним в такой спешке, и столь явно торопился он исполнить долг свой, что вовсе не оставил Пьеру возможности разведать, от кого же послание. И тут в уме его блеснула сумасбродная мысль о том, будут ли какие последствия, если сейчас вот с умыслом взять да и порвать в клочки письмо, не потрудившись взглянуть, чьею рукой был написан адрес. Не успело еще сие несколько опрометчивое соображение укорениться как следует в его душе, как он опомнился и увидел, что руки его встретились на середине уже разорванного письма! Он выпрыгнул из кресла... «Ну, ей-богу!» – пробормотал он, необычайно скандализованный, дивясь напору того душевного волнения, которое только что нечаянно побудило его в первый раз во всю его жизнь совершить поступок, коего он втайне стыдился. Со всем тем волнение, что вдруг нашло на него, не было его собственным сознательным движением души; однако ж он без промедления ощутил явственно, что, пожалуй, сам немного потворствовал этому, пребывая в той известной и чудной любовной лихорадке, которою ум человеческий, сколь бы крепок он ни был, порой стремится наугад истолковать любое переживание, когда оно одновременно и новое, и таинственное. В такие мгновения мы безо всякой охоты стараемся превозмочь любовные чары – и в том важности нет, что мы можем быть очень сильно напуганы, – ибо те чары, казалось, на некоторое время допустили нас, пораженных несказанным трепетом, в облачную переднюю горних миров.

Ныне Пьер, казалось, явственно различал две непримиримые силы внутри себя, и одна из них во что бы то ни стало желала утвердить власть свою над его душой, а обе воевали за первенство; и, оказавшись меж этих двух неумолимых жерновов, он мыслил, что постиг, хоть и весьма смутно, что лишь ему одному суждено стать им судьей. Одна повелевала тотчас же завершить эгоистическое уничтожение письма, ибо по прочтении оно будущее его каким-то печальным образом усложнится безвозвратно. Другая повелевала ему отринуть все дурные предчувствия, но не потому вовсе, что не было для них достаточно оснований, а потому, что отбросить их прочь больше подобало мужчине, и нечего терзаться думами о том, что ждет впереди. Сей ангел доброты, казалось, с кротостью провещал: читай, Пьер, пусть чтением этим ты и усложнишь себе жизнь, но таковым образом зато ты сможешь помочь другим, облегчив их участь. Прочти и изведай то высшее блаженство, какое приходит только вкупе с чувством, что

---

<sup>60</sup> Прямая цитата из пьесы Шекспира «Много шума из ничего» (пер. Щепкиной-Куперник): 4-й акт, сцена 1, слова Клавдио, обращенные к Геро: «Казалась»? Постыдись!» (в оригинале – Out on thee, seeming!). Почти то же самое говорит себе Пьер: «Out on thee», то есть буквально: устыдись (здесь: своего малодушия). Надо отметить, что в этом обмене репликами у Шекспира Клавдио возмущается двусмысленным обликом Геро, которая, по его словам, имела облик невинности, а в действительности предавалась разврату.

ты выполнил долг свой, и которое обращает заурядное счастье в ничто. Ангел тьмы вкрадчиво зашептал: не вздумай это читать, дражайший Пьер, скорее разорви да живи себе счастливо. Тогда в благородном сердце Пьера вспыхнуло негодование, и посланец ада сгинул в небытие; а глас божьего ангела звучал все ясней и ясней, сам же он становился все ближе и ближе, улыбаясь Пьеру печальной, но благосклонной улыбкою; а из бесконечной дали меж тем неслись дивные созвучия и потоком лились в его сердце, что наполнилось ими до тех пор, пока наконец каждая жилка в нем не задрожала от некой божественной радости.

## V

*«Имя, что стоит в конце этого письма, ты совсем не знаешь. Прежде ты и не догадывался о том, что я живу на свете. Это послание рассердит тебя и нанесет тебе рану.»*

*С превеликой охотою я пощадила бы тебя, да то не в моей власти. Сердце мое призываю в свидетели, когда б я допускала мысль, что страдания, кои тебе доставит чтение этих строк, будут сравнимы, будут хоть в малейшей степени сравнимы с теми, что довелось пережить мне, мои уста навеки сохранили бы печать молчания.*

*Пьер Глендиннинг, ты не был единственным ребенком своего отца; и лучи солнца, освещающие мою руку, которая выводит эти слова, освещают руку твоей сестры; да, Пьер, Изабелл зовет тебя братом... своим братом! О слово, что мне всего любезней, как же я часто твердила тебя в мыслях и полагала сие почти святотатством, чтобы такая пария, как я, смела тебя произносить или даже о тебе мыслить. Дражайший Пьер, брат мой, дитя моего отца! ты ль не ангел, в силах ли ты подняться надо всеми бессердечными условностями и порядками ограниченного света, что наречет тебя глупцом, глупцом, глупцом и тебя проклянет, коли поддашься сему внушению свыше, которое одно способно побудить тебя ответить моей тоске, что так долго подавлялась в глубинах моего сердца и теперь хлынула оттуда неиссякаемой рекой? О брат мой!*

*Но, Пьер Глендиннинг, моя гордость ничуть не уступит твоей. Не дай же моему злосчастному положению сломить во мне тот благородный дух, что я унаследовала наравне с тобой. Не пойми превратно мои слезы и муки, чтоб не быть втянутым в историю, о коей после, в час хладных размышлений, ты начнешь горько сожалеть. Дальше не читай. Если все это тебе не по нутру, сожги мое письмо; так тебе станет меньше труда доказать самому себе неправоту моих сведений, которые, ежели они теперь встретили в тебе лишь безучастность и эгоизм, могут в дальнейшем, когда ты будешь уже в летах да полон угрызений совести, отозваться мучительными упреками. Нет, не должна я, не стану я упрашивать тебя... О, брат мой, дорогой, дорогой мой Пьер, спаси меня, лети ко мне, смотри, я гибну без тебя... сжался, сжался... я гибну от холода в большом, большом мире... ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата, ни единой живой души в светлом человеческом облике, кому я была бы дорога. Не могу, о, не могу я больше, дорогой Пьер, влачить жизнь отверженной в мире, за который дорогой Спаситель пошел на смерть. Спешу ко мне, Пьер... нет, лучше бы мне изорвать то, что я пишу... как я порвала уж столько других посланий, что предназначались тебе все до одного, но так и не дошли до тебя, ибо в моем*

*смятении я вовсе не знала ни как писать к тебе, ни что сказать тебе; и вот снова вижу, что пишу бессвязный вздор.*

*Ничего больше... ни слова больше не прибавлю я... молчание станет всему могилою... тоска грызет меня, Пьер, брат мой.*

*Не хватает духу перечесть все, что тебе написала. Но добавлю последние, роковые строки, а уж решение остается за тобой, Пьер, брат мой... Та, что зовется Изабелл Бэнфорд, живет в маленьком красном фермерском коттедже в трех милях от деревни, на обрыве у озера.*

*Завтра в полночь... не раньше... не при свете дня, не при свете дня, Пьер. ТВОЯ СЕСТРА ИЗАБЕЛЛ».*

## VI

Это письмо, написанное дрожащим женским почерком, в нескольких местах почти неразборчивое, ясно говорящее о состоянии, в коем оно было писано, запачканное там и сям да закапанное слезами, из-за коих расплылись чернила, обретя странный красноватый оттенок – словно то кровь, а не слезы, капала на бумагу, – а теперь еще и порванное самим Пьером надвое, оно казалось, право же, таким посланием, какое впору лишь разорвать, как две половинки кровоточащего сердца; после сего любопытнейшего послания Пьера на какое-то время покинули все ясные<sup>61</sup> и связные мысли, все чувства. Полумертвый, он поник в кресле; рука его, в которой было зажато письмо, крепко прижималась к сердцу, словно некий ассасин поразил его и скрылся, а Пьер пытался удержать клинок в ране, чтоб остановить хлынувшую кровь.

А-а, Пьер, тебя воистину поразили прямо в сердце, и никогда не затянется твоя рана, уврачевать которую властны лишь на Небесах, ибо для тебя мир навеки утратил всю свою нравственную красоту, кою ты прежде полагал несомненной, ибо для тебя отец твой, коему ты поклонялся, больше уже не святой, перед твоим взором навеки померкла вся блистательная слава, что почивала на окрестных холмах, и покой, которым дышали окрестные поля, навеки унесло ветром; и ныне, ныне в первый раз, Пьер, почерневший морской вал правды обрушился на твою душу! Ах ты, несчастный, кому первый прилив правды не принес ничего, кроме гибели!

Очертания знакомых предметов, обломки мыслей, токи жизни понемногу возвращались к Пьеру. И, как моряк, переживший кораблекрушение и вынесенный волною на берег, который, как очнется, первым делом отползает подальше от прилива, чтоб море не утащило его обратно, так Пьер еще долго боролся и боролся с собою, стремясь уйти от той волны душевной боли, что вышибла дух из его тела и отбросила на берега обморока.

Но мужчина не для того создан, чтоб уступать воле злого рока. Молодость, сколь она ни живет на свете, всегда ввяжется в безнадежный бой. Пьер, шатаясь, кое-как утвердился на ногах; глаза его были широко распахнуты, взгляд застыл, а все тело сотрясала крупная дрожь.

«По крайней мере, у меня остался я сам, – медленно прошептал он, почти задыхаясь. – Я и в одиночку встречаюсь с тобою лицом к лицу! Прочь от меня все страхи и сгиньте все чары! С этого дня я не желаю знать ничего, кроме правды; радостной правды или же правды печальной; я буду знать ее, и поступать так, как провещает мне ангельский глас из дальних глубин моего существа... Письмо!.. Изабелл... сестра... брат... я, я... мой отец, кого я боготворил!.. Это какой-то безобразный сон!.. да нет же, бумажку эту явно подделали... клянусь, это подлый и злокозненный обман... Недаром ты от меня отворачивался, ты, гнусный посыльный с фонарем, что обратился ко мне в канун радости, чтобы вручить этот лживый вексель

<sup>61</sup> Ясные мысли (в оригинале – lucid thoughts) – намек на любовные мысли о Люси (игра слов – Lucy – lucid).

от горя! Неужели правда ходит под покровом тьмы, и подходит к нам тайком, и вот так крадет от нас, и после бросается наутек, глухая ко всем мольбам, что летят ей вслед? Если сия ночь, что заволочла мне душу, столь же честна, как и та, что ныне объемлет полмира, тогда рок, я бросаю тебе перчатку по всем правилам благородной дуэли. Ты мошенник и плут; ты увлек меня через сады наслаждения к погибельной пучине. О! Ложь была мне проводником в дни моей радости, неужели только теперь честность ведет меня в сей ночи моей скорби? Я дойду до безумия, и остановить меня никто не дерзнет! В бешенстве я грожу кулаками небу, но что, как не гром небесный, поразило меня? Мое дыхание отравляет воздух, но разве грудь моя – это не чаша желчи? Ты, черный рыцарь, что опустил свое забрало, ты, который вышел против меня и насмеяешься надо мною, слушай! Я пробью насквозь твой шлем да посмотрю на твое лицо, будь ты даже сам Гордон!<sup>62</sup> Дайте мне волю вы, нежные привязанности; ты же, благочестие, убирайся прочь из моего сердца... отныне греховность станет моим уделом, ибо благочестие сыграло со мной злую шутку и учило почитать там, где я должен был относиться с презрением. Ныне я срываю со всех кумиров их священные покровы; я увижу то, что было скрыто от глаз человеческих, и честно разделю кров с моей тайною жизнью, о которой раньше не имел ни малейшего представления!.. Ныне я постиг, что одна лишь правда могла так перевернуть мне душу. Это письмо не подделано. О! Изабелл, ты воистину мне сестра; и я буду любить тебя и защищать тебя, да и признавать родство с тобою, что бы ни случилось. А вы, Небеса, забудьте все те бессвязные ругательства, что я изрыгал в неведении, и примите эту мою клятву... Сегодня я даю Изабелл клятву в верности. О! моя ты бедная, отверженная девочка, что так долго принуждена была жить, дыша воздухом одиночества и страданий, когда на мою долю оставалось вкушать воздух спloшных наслаждений; ты, кто даже теперь, должно быть, все плачет и плачет, брошенная в том океане неизвестности, каковым кажется мне судьба твоя, которую Небеса отдали в мои руки; милая Изабелл! Я ли более мелок, чем медные деньги, более холоден и тверд, чем глыба льда, чтобы пренебречь такими священными правами, как твои? Ты простираешь ко мне руки, а на горизонте видна радуга, сотканная из дождя твоих слез! Я слышу, как горько ты плачешь, и Господь велит мне стать твоим заступником; а осушит слезы твои, и будет всегда подле тебя, и станет бороться за тебя твой вдруг обретенный брат, кого твой отец при его рождении нарек Пьером!»

Ему невольно было долее оставаться в своей комнате: казалось, особняк сжимается, как скорлупа ореха, стены, потолок, сдвигаясь, давили на голову; и, позабыв шляпу, он бросился прочь из дому и только на вольном просторе нашел силы сделать следующий шаг по той тернистой дороге самостоятельности, что тянется пред нами, будучи длиною в жизнь.

---

<sup>62</sup> Чарльз Джордж Гордон (*англ.* Charles George Gordon, 1833–1885) – британский генерал, которого посмертно провозгласили национальным героем за его подвиги в Китае и Судане (защита Хартума от махдистов – восстание коренных жителей Судана против англичан-колонистов). Был известен исключительной храбростью и верностью своему слову: в частности, Гордон, зная, что Хартум обречен, отказался его покинуть, остался вместе с жителями города, которых не успел эвакуировать, и принял казнь от рук повстанцев. Память генерала Гордона до сих пор чтут в Великобритании; в Лондоне ему установили памятник.

## Глава IV РЕТРОСПЕКТИВА<sup>63</sup>

### I

Определить, где находятся самые корни и тонкие причинные обусловленности у сильнейших и свирепейших эмоций в нашей жизни, сие непреодолимая трудность и для наблюдателя, наделенного аналитическим умом. Мы замечаем грозное облако, и в нас бьет молния; а метеорология только и может, что написать бесполезное и неодобрительное эссе-исследование о том, как сформировалось это облако да отчего это удар молнии – столь болезненный шок. Метафизические авторы проповедуют, что любое самое величественное, неподвижное и крайне важное событие, пусть даже длилось оно всего мгновение, есть не что иное, как итог бесконечной последовательности бесконечно сложных и неопределимых причин, что предшествовали этому. Так же селятся объяснить и каждое движение наших сердец. Почему от благородного воодушевления наши щеки пылают румянцем, почему от презрения наши губы сжимаются в прямую линию – это все обстоятельства, которые нельзя вполне отнести на счет настоящих и явных событий, что сами лишь отдельные звенья некоей цепи, но можно причислить к длинному ряду взаимосвязанных событий, начало коего теряется где-то в разреженных слоях атмосферы.

Поэтому напрасными были бы все попытки любым хитроумным образом заглянуть в сердце, и память, и глубочайшую внутреннюю жизнь, и натуру Пьера, дабы поведать, отчего ум его был устроен так же, как и у многих приятных джентльменов, и старых, и молодых, – ум, известный тем, что ко всему новому он сперва подходит с кратковременным чувством удивления, затем с некоторым любопытством, ибо не прочь узнать побольше, а напоследок – с полным равнодушием; напрасными были бы попытки описать, как раскаленная лава текла в душе Пьера и оставляла за собою след опустошения столь глубокого, что все его дальнейшие усилия пропали втуне: он так никогда и не смог поднять из грязи да возвести заново свои величественные храмы, и сады его души так никогда и не зазеленели вновь после того, как было сожжено их первое цветение.

Но нескольких подробностей из его жизни, поданных в произвольном порядке, нам хватит, чтобы рассеять немного таинственность происходящего, чтобы рассказать, откуда взялось то состояние неистовства, в которое повергло его такое коротенькое письмецо.

Долго высилась одна святая гробница в зеленевших молодой листвой садах сердца Пьера, приближаясь к которой он продвигался вверх маленькими, но уверенными шажками воспоминаний и которую он каждый год убирал кругом свежими венками нежной и святой привязанности. Последней там появилась увитая зеленью беседка, кою он постепенно собрал из тех жертвоприношений, совершать которые он сам себе давал клятву; гробница сия казалась да, собственно, и была то место, что более подходило для празднования благонравной радости, чем для отправления меланхолических ритуалов. Но хотя множество цветов укрывало и обвиняло ее спутанными гирляндами, то была мраморная гробница – стоящая в нише колонна, что казалась незыблемой и массивной, а от ее капители исходили бесчисленные скульптурные ветви и ответвления, что поддерживали весь одноколонный храм его нравственной жизни; так и в какой-нибудь прелестной готической часовне одна центральная колонна, словно ствол, поддерживает крышу. В этой-то гробнице, в этой-то нише, у этой-то колонны, и стояла совершенная мраморная статуя его покойного отца, без пятнышка, без тени изъяна, белоснежная и

---

<sup>63</sup> Ретроспектива – взгляд, обращенный в прошлое.

сияющая чистотой; и в глазах любящего Пьера то было воплощение безупречной человеческой нравственности и добродетели. Перед сей гробницу Пьер, взяв почтительный тон, высказывал всю полноту чувств и мыслей своей молодой жизни. Вот к кому Пьер неизменно обращался в молитвах, а к Богу – лишь когда поднимался на холм к той гробнице, и посему она становилась передней для его абстрактного культа.

Его славословили и возвеличивали за гробом превыше царя Мавзола<sup>64</sup>, этого смертного отца, который, пройдя почтенный, добродетельный жизненный путь, почил в бозе и был погребен с величайшим почетом, словно у райского источника<sup>65</sup>, в сыновней памяти сердца его ребенка, одаренного добрым сердцем и чуткой душой. В те поры Соломонова мудрость еще не проливала свои мутные потоки в девственные воды молодого источника его жизни. Редкая добродетель, призванная оберегать нас от всякого зла, обладает родником, где текут такие же благословенные воды. Все приятные воспоминания, окунаясь в сей источник, обращаются в мрамор; все те воспоминания, что мало-помалу стираются из памяти, приобретают там прочность и бессмертие. Так и чудные воды некоего источника в Дербишире<sup>66</sup> превращают в камень птичьи гнезда. Но если судьбе угодно, чтоб отец подольше задержался на этом свете, слишком часто все оборачивается так, что дети устраивают ему не столь пышные похороны, а его идеализация в их сердцах проходит далеко не с той торжественностью. Подросший мальчуган с широко распахнутыми глазами примечает, или же ему смутно чудится, что он примечает все слабые места и пороки в характере своего родителя, перед которым он, бывало, испытывал такой священный трепет.

Когда Пьеру было двенадцать, отец его скончался, оставив после себя, по мнению решительно всех, добрую славу джентльмена и хорошего католика, в сердце своей жены – неувядаемые воспоминания о длинной веренице ясных дней безоблачного и счастливого супружества, а на дне души Пьера – память о живом воплощении редкой мужской красоты и добросердечия, с коим соперничать мог разве что некий божественный образ, который и влил в его сердце такую любовь к добродетели. Грустными зимними вечерами у жарко натопленного камина или же в летних сумерках на открытой южной веранде, когда таинственная тишина сельской ночи разлита всюду, Пьеру и его матери приходил на ум бесконечный рой мыслей о давно минувшем, а впереди этой призрачной процессии всегда шествовал величественный и свято чтимый образ покойного мужа и отца. Затем начинала течь их беседа, посвященная воспоминаниям, глубокомысленная, но не лишенная приятности; и снова и снова все глубже и глубже душа Пьера проникалась затаенным тщеславным убеждением, что его боготворимый отец, который при жизни был столь хорош собою, ныне беспрепятственно принят в сонм непорочных ангелов Господних. Посему выросший в блаженном неведении и, до некоторой степени, затворничестве Пьер, несмотря на то что уж отпраздновал девятнадцатое рожденье, впервые столь явно соприкоснулся с той темной, хоть и более реалистичной стороной жизни, что, коли постоянно обитать в городе с самых юных лет, почти неизбежно наложит свой отпечаток на душу любого, наделенного зоркой наблюдательностью и склонностью к размышлениям молодого человека

<sup>64</sup> Мавзол (*лат.* Mausolus; 377–335 гг. до н. э.) – персидский сатрап, что правил Карией, царством на полуострове Анатолия (Малая Азия, ныне – турецкая провинция Мугла). Его великолепную гробницу, постройку которой завершила его сестра и супруга Артемизия, провозгласили одним из семи чудес света, а слово «мавзолей» стало нарицательным. Артемизия также устроила состязание риториков, где участники должны были славить покойного царя, и раздала им награды.

<sup>65</sup> В оригинале – *as in a choice fountain*; *зд.*: райский источник. В древности похороны с величайшими почестями означали возведение огромной и роскошной усыпальницы или мавзолея над прахом покойного, а у мавзолея нередко возводили фонтан. Вероятнее всего, Мелвилл ссылается на вот какую традицию. На Востоке фонтаны возводили на кладбищах или святых местах, и этот вид фонтана называли «сельсебиль» (райский источник); по преданию, в мусульманском раю течет райский источник, от которого будут пить только праведные (Коран, 76-я сура, 18-й аят).

<sup>66</sup> Источник в Дербишире (*англ.* petrifying well) – удивительный водопад в Мэтлоке, графство Дербишир, Великобритания: его воды, в силу своего особенного состава, в который входят уникальные минералы, может постепенно превратить в камень любой предмет.

одних с Пьером лет. Одним словом, до сего дня память его сердца сохранила в целости дорогие воспоминания о минувшем; и отцовский гроб виделся Пьеру столь же незапятнанным, сколь и свежим, как мрамор самой Аримафеевой гробницы<sup>67</sup>.

Судите ныне, какая же волна полного разрушения и гибельная буря поднялись той ночью в душе Пьера, что разметали, обнажив ту священнейшую гробницу, весь живой цветочный ее покров да сожгли дотла статую кроткого святого, пока рушились обломки главной святыни его души.

## II

Как виноградные лозы сперва цветут, а после гроздь их наливаются пурпуром на тех побегах, что густо оплетают стены и самые зевы пушек возрожденной крепости Эренбрейтштейн<sup>68</sup>, так и сладчайшие радости жизни вызревают в хищной пасти горя, что неизменно их стережет.

Но неужели жизнь и впрямь души не чаёт во всякого рода безбожном легкомыслии, а нас, ее заблудших подданных, ничего не стоит одурачить да так заморочить нам голову, что мы уж поверим, что наша прочнейшая башня счастья в единый миг рухнет, случись малейшее происшествие – падет ли какой листок с дерева, услышим ли мы некий голос или же получим расписку на клочке бумаги, где острым пером нацарапана небольшая повесть о нескольких скромных особах? Неужели же настолько переменчивы мы в суждениях наших, что та сокровищница, куда поместили мы все наши самые святыи и любезные сердцу радости и которую сами замкнули на замок работы непревзойденно искусной; неужели же сокровищницу эту может вскрыть да разграбить малейшее прикосновение к ней незнакомца, когда мы знаем, что лишь нам одним принадлежит от оной единственный и верный ключ?

Пьер! ты показал себя набитым глупцом, подыми же из праха... нет, не то, ибо гробница отца твоего все стоит на том же месте, Пьер, стоит незыблемо; неужели ты не чувствуешь благоухание, что источают живые цветы, которые по-прежнему ее обвивают? Да сие послание, что ты держишь в руках, не стоит большого труда подделать, Пьер, а самозванцы не вчера появились на свет в этом мире кудесников; или, еще лучше, какой-нибудь бойкий романист, Пьер, напишет тебе пятьдесят подобных писем, и притом всякий раз исторгнет слезы у своего читателя, а *твое* письмо, неизвестно почему, не растрогало тебя так, чтобы твои мужские глаза пролили над ним единую слезинку, – взор твой остекленел, и ты не пролил ни слезинки, Пьер, глупый Пьер!

О! не язвите насмешками сердце, в кое вонзился стилет. Страдая от раны, мужчина понимает, что спознался со сталью; не нужно нести вздор, убеждая его, что было то всегонавсего скользящее прикосновение щекочущего пера. Иль не чувствует он, сколь глубоко ранен? Откуда кровь сия на моих одеяниях? и откуда боль сия в душе моей?

<sup>67</sup> Аримафеева гробница (*англ.* tomb of Arimathea) – гроб с телом Господним; упоминается во всех четырех Евангелиях (Мф. 27:57; Мк. 15:43; Лк. 23:50; Ин. 19:38) как та самая, где был похоронен Иисус Христос, для чего св. Иосиф Аримафейский, богатый член синедриона, тайный ученик Спасителя, отдал собственную, готовую усыпальницу.

<sup>68</sup> Эренбрейтштейн (Эренбрайтштейн, *нем.* Festung Ehrenbreitstein) – крепость на одноименном холме, расположенная на правом берегу Рейна, в Германии. Основана ок. 1000 г. Конрадином Эренбрайтом. Одна из самых больших и мощных крепостей во всем мире. За всю свою историю была сдана лишь однажды – французам в 1799 г., и то после трех лет осады и тогда, когда в крепости уже начался голод. В 1801 г. французы, покидая крепость, взорвали ее. После Венского конгресса 1815 г. отошла Пруссии, была восстановлена, обратясь в самую грозную крепость Европы. В Германии – одно из главных укреплений. Именно здесь хранилась Честная риза Господня с 1657 по 1794 г. Лорд Байрон побывал в Эренбрейтштейне и воспел крепость в стихах, посвятив ей 58-ю главку 3-й песни «Паломничества Чайльда Гарольда». Байрон в примечаниях к «Гарольду» упоминает прозвище крепости: «Твердыня чести» («The Broad-Stone of Honour»). Прозвище это было настолько известно, что под тем же названием в Лондоне в 1822 г. Кенельм Генри Дигби выпустил энциклопедию этикета, адресованную настоящим джентльменам. Любопытно, что если перевести прозвище крепости на французский, то получится «La Pierre d'Honneur». Возможно, Мелвилл косвенно сравнивал Пьера с этой крепостью.

И вот вновь, не без причины, можем мы воззвать к тем трем дивным божествам<sup>69</sup>, чья воля приводит в движение прядильные машины Жизни. Мы можем вновь спросить их: «Какие же нити, о вы, дивные богини, прядли в те, давно ушедшие годы, что ныне для Пьера они стали непогрешимыми указателями в его грозových предчувствиях о том, что его горе и впрямь горе, что отец его в его глазах более не святой и что Изабелл воистину сестра его?»

Ах, отцы и матери! где бы ни жили вы на белом свете, будьте начеку – берегитесь! Пусть дитя ваше еще недостаточно смышленное, чтоб понимать значение тех слов и тех знаков, коими обмениваетесь вы в невинном его присутствии, мысля тем самым скрыть от него неблагоприятные поступки ваши, на кои лишь намекаете. Пусть не дано ему сразу постичь их, пусть всего малая толика да общие детали происходящего схватывает он осознанно; но если после вашей кончины рок передаст ключ от алхимической тайнописи прямо в его руки, то тогда как же скоро и споро посетит его разумение всех самых туманных и совсем было забытых сцен, что вдруг всплывут в его памяти; да, и вот он рыскает по всем закоулкам своего разума в поисках еще не открытых шифров, с тем чтоб и их непременно прочесть. О, мрачнейшие уроки жизни преподносит такое чтение, жестоко убивает оно всю веру в добродетель, и после него молодость отдается беспощадному презрению.

Но, впрочем, события, что произошли с Пьером, были вовсе не таковы; разве что самую малость, в общих чертах походили на эти, а посему приведенное выше справедливое предупреждение упоминается здесь не совсем уж не к месту.

Отец его скончался в лихорадке; и поскольку сие довольно часто случается с подобными больными, он то и дело проваливался в беспамятство и тогда нес полную околесицу. В ту пору – посредством незаметных, но хитрых уловок – верные слуги семьи удалили его жену от одра его. Но не маленького Пьера, чья нежная сыновья любовь раз за разом приводила его к той постели; они не заметили, что наивный маленький Пьер находился тут же, пока отец его метался в горячке; и потому как-то вечером, когда густые тени сливались в одно с тяжелыми шторами и в покоях больного ненадолго все смолкло, и Пьер лишь смутно видел отцовское лицо, и пламя камина легло поверженным храмом причудливых угольков, тогда странный, горестный, бесконечно жалобный, тихий голос донесся с кровати под балдахином; и Пьер услышал:

– Доченька! Моя доченька!

– У него опять бред, – сказала мамушка.

– Дорогой, дорогой папенька, – всхлипывал мальчик. – У тебя нет дочери, но здесь, рядом с тобою, сын твой, маленький Пьер.

Но вновь, не обращая внимания на его слова, долетел с постели тот же голос; и теперь то был резкий, долгий, звенящий вопль:

– Моя дочка!.. Боже! Боже!.. моя доченька!

Ребенок схватил умирающего за руку, тот слабо сжал его пальцы, но с другой стороны кровати вторая его рука также поднялась, ладонь раскрылась и вслепую ловила пустой воздух, словно в поисках еще одной детской ручки. Затем обе руки обессиленно упали на одеяло, и в тусклом свете умирающей зари маленький Пьер, казалось, видел, что одна рука отца, та, кою он держал в своей, была вялой, лихорадочно горела, а вторая, пустая, была мертвенно-белой, как у прокаженного.

– Ну, вот и миновало, – прошептала мамушка. – Он уж больше не будет бредить, пока полночь не придет – такая у него привычка.

И тогда в сердцах она спросила, ни к кому не обращаясь, как это можно, чтоб такой превосходный джентльмен, да еще такой добряк, вел столь двусмысленные бредовые речи да весь

---

<sup>69</sup> Три Дивных Божества (Богини) – (в оригинале – Three Weird Ones) – речь идет о греческих богинях судьбы, трех Мойрах, что были старше других богов; согласно легендам, они прядли нити человеческих судеб.

трясая, мучаясь мыслью в душе своей о некоем таинственном происшествии, о коем, казалось, не ведало человеческое правосудие, кроме суда его же невинной души, что видит кошмарные сны да бормочет неподобающие мысли; вот так в детскую душу Пьера, проникнутую благоговейным страхом, впервые вошла гордость за родного человека, хоть и весьма неопределенная. Но все это попадало в сферу непонятого и было неуловимо, как эфир; и посему маленький мальчик стал отдавать предпочтение другим и куда более приятным воспоминаниям, а сие оказалось сокрыто под ними, пока в конце концов оно совсем не померкло и смешалось со всеми прочими размытыми воспоминаниями да грезами об ушедшем, а посему в нем уж не содержалось для Пьера ни искры живого смысла. Но хотя прошло много долгих лет, а листья черной белены<sup>70</sup> так и не распустились в его душе; все же семена ее очутились там и дождались своего часа, и при первом беглом прочтении письма Изабелл они бурно разрослись, словно под воздействием чар. Тогда, как встарь, зазвучал тот горестный и бесконечно жалобный голос, что он так долго старался заглушить в памяти: «Доченька! Моя доченька!», – и вслед за тем крик человека, мучимого угрызениями совести: «Боже! Боже!» И перед мысленным взором Пьера вновь подымалась рука с раскрытою пустой ладонью и вновь падала эта мертвенно-белая рука.

### III

В неприветливых дворцах правосудия медлительный судья монотонным голосом требует от нас присяги да клятвы на Священном Писании, но в радушных покоях наших сердец хватит с лихвой и одной-единственной искры пробудившейся памяти, чтоб возжечь такой пожар доказательств, что все углы осуждения вдруг озарятся светом, как целый город в полночь – от горящего дома, с каждой стороны которого пляшут в пламени каленого цвета головешки.

В уединенном кабинете, где дверь всегда стояла на запоре, а в каждой стене было отдельное окно, кабинете, что сообщался с комнатой Пьера и куда тот удалялся в те прелестные своею мрачностью ночные часы, когда дух взывает к духу: «Ступай со мною в глухие дебри, брат-близнец, удалимся: секрет таю я; позволь же мне шепнуть его тебе в стороне от всех»; в этом-то кабинете, отведенном под своего рода священные тайники Тадмора<sup>71</sup> да тихое прибежище, где отдыхал Пьер, который по временам чувствовал себя одиноко, здесь-то и висел на длинных веревках, что крепились к карнизу, маленький портрет маслом, перед коим Пьер не раз стаивал в забытьи. Будь сия картина представлена на ежегодной общественной выставке и будь ее описание помещено в печать небрежными, сомнительными критиками, оно бы звучало вот как, и то была бы правда: «Импровизированный портрет пригожего, веселого сердцем, молодого джентльмена. Он легко, так сказать, воздушно, легкими мазками запечатлен, или, вернее, легко восседает в старинном малаккском кресле.<sup>72</sup> Одна его рука держит шляпу, меж тем

<sup>70</sup> Черная белена – ядовитое травянистое растение семейства пасленовых с фиолетово-желтыми цветками, листьями, покрытыми беловатыми волосками, и дурманящим запахом.

<sup>71</sup> Тадмор (*библ.* Tadmor, *араб.* Tadmur; *греч.* и *лат.* Palmуга – Пальмира, «город пальм») – город, который в древности был необычайно богат, располагается в южной части Центральной Сирии, между Дамаском и Евфратом. Процветал за счет караванного пути, что через него пролегал: город был местом отдыха караванов. Носил прозвище «невеста пустыни», связывая Восток и Запад; стал называться Пальмирой в I в. н. э. В числе прочего уникален тем, что именно в его стенах впервые мирным путем прошел синтез восточной и западной культур, и из них была образована своя, смешанная. Д. Робийяр (D. Robillard), исследователь творчества Мелвилла, выдвигает предположение, что Тадмор (Пальмира) выступает метафорой семьи Глендиннингов, внешне благополучной, скрывающей за внешним блеском прошлые грехи, – семьи, которая, как и Пальмира, одновременно и разрушенная, и недостроенная.

<sup>72</sup> Малаккское кресло (в оригинале – chair of Malacca) – кресло из города Малакка. Малакка (*англ.* Malacca, Melaka) – штат на одноименном полуострове, который входит в состав Малайзии, и столица его также называется Малаккой. Этот город основан в начале XIII в. н. э. Жители занимаются возделыванием риса, кокосов и маслин, прибрежным рыболовством, а также выращиванием и первичной обработкой каучука. В Малакке власть не единожды менялась – яванцы, китайцы, арабы (в правление которых Малакка расцвела), затем португальцы, голландцы и, наконец, англичане. На момент публикации «Пьера» в 1852 г. Малакка была частью английских колониальных владений в Малайе. В Малакке очень долго сохранялось правление

как трость его праздно прислонена к спинке кресла, а пальцы другой руки играют с золотой печатью на цепочке и ключом. Голова с открытыми висками повернута в сторону с особенно ясным и беспечным утренним выраженьем лица. Он выглядит так, точно только что навестил кого-то из своих знакомых. В целом картина весьма талантливо и живо написана; в приятной импровизированной манере. Вне всяких сомнений, то портрет, а не прихоть воображения; и, рискуем смутно предположить, написанный любителем».

Сияющий такую радостью, а потому пробуждающий к себе столько приязни; столь верный в деталях да где молодость схвачена была с такою живостью; столь чудно благообразный да в коем было столько изящества; какие же то были невидимые струны души, кои он так сильно тревожил, что жена того, кто послужил натурою для сего портрета, полагала последний несказанно неприятным и никуда не годным? Мать Пьера всегда заявляла во всеуслышание, что питает отвращение к этой картине, ибо на ней запечатлелась поразительно гадкая ложь о ее супруге. Ее теплые воспоминания о покойном категорически отвергали даже самые скромные и маленькие цветочные венки, коими их пытались увенчать другие. «Это не он», – многозначительно и почти с негодованьем возглашала она всякий раз, когда донимали ее настойчивыми просьбами открыть причину столь малорассудительного расхождения во взглядах едва ль не со всеми прочими родными и друзьями усопшего. А портрет, что признавала она удачною копией всех совершенств своего мужа, ибо там его образ был явлен в малейшей подробности и, главное, в нем нашли правдивое отражение его настоящие, прекраснейшие и благороднейшие черты, – тот портрет был большего размера и внизу, в парадной гостиной, занимал самое выигрышное и почетное место на стене.

Даже и Пьеру эти две картины всегда казались на удивление несхожими. И так как второй портрет был сделан через много лет после первого, а потому куда более соответствовал его воспоминаниям об отце, какие сохранились в его памяти со времен детства, то посему он не мог не признать большой портрет, безусловно, самым правдивым, где отец его вышел, как живой. Посему и явное предпочтенье его матери, сколь угодно решительное, вовсе не вызывало у него удивления и лучше согласовывалось с его личным мнением. Но все ж таки даже и не за это она неизбежно отвергала другой портрет без малейшего колебания. Поскольку, прежде всего, полотно разделяла череда лет, да разница в платье, которую тоже стоило принять во внимание, да глубокое различие в манере живописи обоих досточтимых художников, да огромная разница меж этими двумя – несколько условными – идеальными лицами, кои тонкий художник, даже и в присутствии самого натурщика, охотнее изберет для своей картины, нежели мясистое лицо последнего, сколь бы приятно и представительно оно ни было. И потом, тогда как большой портрет представлял женатого мужчину средних лет, черты которого, казалось, имели все те невыразимые признаки и некоторую дородность, какая свойственна людям в тех условиях, кои величают семейным счастьем, а на маленьком портрете был бодрый, еще не скованный брачными узами молодой холостяк, для которого жизнь была веселыми странствиями по свету, беспечный и, возможно, самую малость безнравственный и переполняемый тем избытком молодых сил и свежестью, что бывают лишь на заре жизни. Вот что, несомненно, следовало в большей степени брать в расчет, высказывая любое сдержанное, непредвзятое суждение об этих двух портретах. Сей довод казался Пьеру почти неоспоримым, когда он ставил рядышком два портрета себя самого; один, взятый в его раннем детстве, на котором он был мальчиком четырех лет от роду, в детском платьице<sup>73</sup> с пояском, и другой портрет, где он уже представал выросшим молодым шестнадцатилетним человеком. Кроме неизменных черт, кои сохраняются во всю жизнь, чего-то такого в глазах да у висков, Пьер едва ли мог узнать громко

---

мусульман-арабов; и так как это всегда был скорее восточный город, а также нет никаких сведений о том, что мебель из Малакки имела некие уникальные черты, то можно предположить, что малаккское кресло было просто удобное и мягкое кресло, украшенное восточной резьбой.

<sup>73</sup> В те времена и мальчиков и девочек до пяти лет одинаково рядили в платья.

хохочущего мальчика в этом высоком юноше с задумчивой улыбкою. «Если всего несколько быстротечных лет принесли с собою столь большие перемены в моем облике, то как же должен был измениться отец?» – мыслил Пьер.

Помимо всего этого, Пьер помнил некую историю или, скажем так, семейное предание о маленькой картине. На его пятнадцатое рождение сей портрет был ему подарен его тетушкой, старою девою, коя проживала в городе и лелеяла память об отце Пьера со всей той удивительною, неувядаемою, как цветки амаранта, преданностью, кою старшая незамужняя сестра всегда питает к памяти любимого младшего брата, ныне покойного и безвременно отошедшего в мир иной. Единственное дитя сего брата, Пьер был объект нежнейшей и совершенно неумеренной привязанности со стороны этой одинокой тетушки, коя, казалось, воочию видела вновь воскресшую юность, живое сходство и самую душу брата в чистых чертах Пьера, что он унаследовал от своего отца. Несмотря на то что портрет, о коем мы ведем речь, превозносила она свыше всякой меры, все ж таки суровый канон ее романтической и мнимой любви провозгласил наконец, что портрет должен принадлежать Пьеру, ибо Пьер не только единственный ребенок своего отца, но и назван в его честь, и посему портрет надлежало передать Пьеру, как только он вполне возмужает, чтобы по достоинству оценить такую святую и бесценную драгоценность. Вот она и выслала ему сей портрет, положив оный в тройной короб да сверху обернув его водонепроницаемою тканью; и доставил его в Седельные Луга быстрый частный посланец, пожилой джентльмен на отдыхе, который когда-то был несчастным, ибо отвергнутым, поклонником тетушки, ныне же обратился в ее довольного и говорливого соседа. И посему теперь только перед миниатюрою из слоновой кости в золотой рамке да с золотой дверцею – братниным подарком – тетушка Доротей творила свои утренние и вечерние молитвы в память о благороднейшем и красивейшем из всех братьев на свете. Но все же ее ежегодное паломничество в дальний кабинет Пьера – посещение, что ныне утратило всякий смысл, ибо портрет отданто был много лет назад и уж порядком состарился, – было всякий раз проявлением силы ее чувства долга, того мучительного самоотречения, кое заставило ее по доброй воле расстаться с драгоценною реликвией.

#### IV

– Расскажите мне, тетушка, – когда-то давным-давно просил ее маленький Пьер, задолго до того, как портрет достался ему, – расскажите про сей портрет, что вы зовете портретом в кресле, как его написали... кто написал его?.. Это было папино кресло? Где же оно у вас?.. Я не вижу его в вашей комнате... Что папа так странно смотрит? Хотел бы я знать, что папа думал тогда. Ну же, дорогая тетушка, расскажите мне все об этой картине, чтобы, когда она станет моей, как вы обещали, я знал о ней больше всех.

– Тогда присядь и слушай очень тихо и внимательно, мое дорогое дитя, – проговорила тетушка Доротей; и, немного склонив голову, она, дрожа, неуверенно рылась в своем кармане до тех пор, пока маленький Пьер не возопил:

– Ну, тетушка, история портрета ведь не в какой-то маленькой книжечке, правда, что вы хотите выгащить да прочесть мне?

– Я ищу носовой платок, дитя мое.

– Ну, тетушка, да вот же он, у вашего локтя, тут, на столе... вот, тетушка... берите его скорей; ох, ничего не говорите мне о портрете, не буду слушать.

– Успокойся, мой дорогой Пьер, – сказала тетушка, принимая носовой платок. – Опустим немного штору, бесценный мой: свет бьет мне прямо в глаза. Теперь пойдешь в гардеробную да принеси мне оттуда мою темную шаль... наберись терпения... Это она, благодарю, Пьер; теперь присядь снова, и я начну... Портрет был написан много лет назад, дитя мое, в то время тебя еще не было на свете.

– Не было? – закричал маленький Пьер.

– Не было, – подтвердила тетушка.

– Ладно, продолжайте, тетушка, да только не рассказывайте заново, как в давние-давние времена не было на свете маленького Пьера, а мой папа был еще жив. Продолжайте, тетушка, скорей, скорей!

– Ох, каким же ты становишься нервным, дитя мое, наберись терпения. Я очень стара, Пьер, а старые люди не любят, чтоб их торопили.

– Моя милая, дорогая тетушка, пожалуйста, простите меня на сей раз и доскажите свою историю.

– Когда твой бедный отец был еще молодым человеком, дитя мое, да приехал, по своему обыкновению, с долгим осенним визитом к друзьям в наш город, он в те дни вполне сдружился со своим кузеном Ральфом Винвудом, который был примерно одного с ним возраста и тоже приятным молодым человеком, Пьер.

– Я его в жизни не видел, тетушка, умоляю, скажите: где он теперь? – прервал Пьер. – Он ныне живет в своем имении, как я и мама?

– Да, дитя мое, но в далеком и прекрасном имении, надеюсь, ибо я уверена, он живет на Небесах.

– Умер, – вздохнул Пьер. – Продолжайте, тетушка.

– Кузен Ральф имел большую любовь к живописи, дитя мое, он проводил долгие часы в своей гостиной, сплошь увешанной картинами да портретами, и там же стоял его мольберт да лежали кисти; и он очень любил рисовать своих друзей и украшать их портретами свои стены; и посему, даже когда он пребывал в полном одиночестве, его окружала большая компания, где лица всегда имели свое лучшее выражение и где никто не ссорился с ним оттого, что на кого-то нашло дурное настроение или же кто-то имел скверный характер, малыш Пьер. Часто он донимал твоего отца тщетными просьбами ему позировать, говоря, что его безмолвный круг друзей никогда не будет полным, пока твой отец к ним не присоединится. Но в те дни, дитя мое, твой отец был вечно в движении. Мне нелегко было упросить его постоять спокойно, пока я завяжу его галстук, ибо он всегда приходил ко мне только ради этого. Словом, он все откладывал и откладывал позирование у кузена Ральфа. «Как-нибудь в другой раз, кузен, не сегодня... завтра, возможно... или на следующей неделе» – и так далее, пока в конце концов кузен Ральф не начал терять надежду. «Но я все ж таки возьму его врасплох», – твердил хитрый кузен. С этих пор он не заговаривал более с твоим отцом о позировании для портрета, но каждым ясным и безоблачным утром держал мольберт и кисти и все остальное в готовности, мысля быть во всеоружии, когда твой отец заглянет к нему после своих долгих прогулок, ибо время от времени твой отец делал беглые краткие визиты к кузену Ральфу в его мастерскую... Но, дитя мое, ты можешь теперь поднять штору – сдастся мне, у нас стало слишком темно.

– Мне так и казалось с самого начала, тетушка, – сказал Пьер, подчиняясь. – Но ведь вы сказали, что свет бьет вам в глаза.

– Но не теперь, малыш Пьер.

– Ладно, ладно, продолжайте, продолжайте, тетушка, вы и представить не можете, как мне интересно, – сказал маленький Пьер, придвигая свой стул ближе к стеганым краям атласного платья доброй тетушки Доротеи.

– Я продолжу, дитя мое. Но сперва позволь сказать, что тем временем в наш порт прибыло полным-полно французских эмигрантов, бедных людей, Пьер, коих вынудили покинуть родную землю, ибо там настали жестокие, кровопролитные времена. Но ты же обо всем об этом прочел в той краткой истории, что я когда-то давно дала тебе.

– Я все про это знаю – то была Французская революция<sup>74</sup>, – сказал маленький Пьер.

---

<sup>74</sup> Французская революция – скорее всего, речь идет о Великой французской революции 1789–1794 гг.

– Ты такой славный маленький эрудит, мое дорогое дитя, – вздохнула тетушка Доротея, слабо улыбаясь. – Среди тех бедных, но благородных эмигрантов была прекрасная молодая девушка, чья печальная судьба позже наделала столько шуму в городе и заставила многих ее оплакивать, ибо о ней не было больше ни слуху ни духу.

– Как? Как? Тетушка... я не понимаю... выходит, она исчезла, тетушка?

– Я немного забежала вперед, дитя мое. Да, она пропала, и о ней больше ничего не было известно, но это было потом, немного позже, мое дитя. Я вполне уверена, что так оно и было; я бы могла в том поклясться, Пьер.

– Ну, дорогая тетушка, – сказал маленький Пьер, – до чего ж серьезным стал тон вашего рассказа – отчего? – да голос ваш так чудно изменился; перестаньте, не говорите таким голосом, вы пугаете меня, тетушка.

– Должно быть, то сильная простуда, которую я сегодня подхватила; боюсь, она делает мой голос немного грубее, Пьер. Но я соберу мои силы и не стану больше говорить столь хрипло. Ну, так вот, дитя мое, некоторое время до того, как эта красивая молодая француженка исчезла, собственно, вскоре после того, как бедные эмигранты здесь обосновались, твой отец познакомился с нею, да вместе с ним и многие другие джентльмены города, в чьих сердцах было сострадание, и они сообща обеспечивали нужды пришельцев, поскольку те и впрямь очень бедствовали да нуждались буквально во всем, да сберегли им их жалкие горстки драгоценностей, коих не могло надолго хватить. Наконец, друзья твоего отца попытались отговорить его от столь частых посещений этих людей; так как они опасались, что юная леди, столь красивая да немножко склонная плести интриги – так говорили иные, – опутает отца твоего да за него и выйдет, что для него отнюдь не стало бы мудрым поступком, ведь, несмотря на то что молодая француженка могла быть и очень красивой, и добросердечной, ни одна живая душа по эту сторону океана не знала ее родословной; ее называли чужестранкой и не находили, что она такая же достойная да прекрасная пара твоему отцу, как после твоя дорогая мать, мое дитя. Но я-то сама, я – та, которая всегда столь хорошо осведомлена была обо всех намерениях твоего отца, да к тому же он бывал со мною весьма откровенен, – я, со своей стороны, никогда не верила, что он способен на такой неразумный поступок, как женитьба на странной молодой девушке. Что бы ни было, но он в конце концов перестал навещать эмигрантов, и вот после этого молодая француженка пропала. Одни говорили, что она по доброй воле, но тайком вернулась на родину, а другие утверждали, что ее похитили тайные французские эмиссары, ибо после ее исчезновения поползли слухи, что она благороднейшего происхождения да в некотором родстве с королевскою семьей; и вот тогда нашлись те, кто мрачно качал головой да шептал про утопления да про иные темные ужасы, кои всегда обсуждают, когда исчезает человек и никому не под силу отыскать его след. Но хотя отец твой и многие другие джентльмены перевернули небо и землю в поисках малейшей зацепки, все же, как я уж сказала, дитя мое, она никогда не появилась вновь.

– Несчастливая француженка! – вздохнул маленький Пьер. – Тетушка, я боюсь, ее убили.

– Несчастливая леди, тут уж ничего не скажешь, – отвечала тетушка. – Но слушай дальше, ибо я опять возвращаюсь к портрету. В те поры, как твой отец очень часто хаживал к эмигрантам, дитя мое, кузен Ральф был в числе тех немногих, кто так поддерживал твоего отца в уходе за ней; но кузен Ральф был тихий молодой человек и ученый, который имел туманные представления о том, что мудро и что глупо в большом мире; и кузена Ральфа совсем не покорила бы подлинная женитьба твоего отца на юной эмигрантке. Ошибочно думая, как я уже говорила тебе, что твой отец ухаживает за ней с серьезными намерениями, он вообразил, будто это превосходная идея – представить его на портрете ее поклонником, иными словами, написать его едва вернувшимся после своего ежедневного визита к эмигрантам. Итак, он выжидал удобного случая, держал все краски да кисти под рукою в своей мастерской, как я уже говорила тебе; и как-то утром, можешь в том не сомневаться, он подкараулил отца твоего, когда

тот вернулся с прогулки. Но прежде, чем он вошел в мастерскую, кузен Ральф выследил его из окна; и когда твой отец вошел, кузен подвинул кресло для позирования так, чтоб оно стало пред его мольбертом, да притворился увлеченным своей живописью. Он сказал твоему отцу: «Рад тебя видеть, кузен Пьер, я тут немного занят; присядь-ка сюда да расскажи мне новости; и я буду писать, слушая тебя. А расскажи-ка нам что-нибудь об эмигрантах, кузен Пьер», – лукаво добавил он, желая, как ты понимаешь, направить мысли отца твоего в любовное русло, чтоб уловить то самое выражение лица, кое ты видишь, малыш Пьер.

– Не уверен, что я вполне вас понимаю, тетушка, но продолжайте, мне так интересно, продолжайте, дорогая тетушка.

– Ну вот, при помощи разных хитрых уловок да маневров кузен Ральф держал твоего отца все сидящим и сидящим в кресле, грохочущим и грохочущим без умолку в таком само-забвении, что твой отец так и не заметил, как все это время его хитрый кузен все писал и писал столь быстро, насколько мог, и, можешь мне верить, посмеивался над неведением твоего отца – короче говоря, кузен Ральф выманил у него сей портрет, дитя мое.

– Но не *украд*, надеюсь, – сказал Пьер. – Это было бы очень дурно.

– Хорошо, не будем называть это обманом, хотя я уверена, что кузен Ральф держал твоего отца в неведении на протяжении всего позирования, а посему пусть и не опустошил его карман, но, по сути, при помощи хитрости, скажем так, списал портрет с него тайком. А если и впрямь обман здесь имел место или что-то в этом роде, все ж таки, видя, какое утешение этот портрет дарит мне, Пьер, и сколько утешения он еще подарит тебе, надеюсь, мне кажется, мы должны от всего сердца простить кузена Ральфа за содеянное.

– Да, думаю, мы и впрямь должны его простить, – согласился маленький Пьер, вопросительно пожирая глазами тот самый портрет, что он видел выше шали тетушки.

– Что же, поймав твоего отца еще два или три раза таким манером, кузен Ральф наконец закончил картину; а когда она была вставлена в раму и полностью готова, он бы удивил твоего отца, храбро вывесив ее в своей гостиной среди прочих портретов, если б твой отец как-то утром не зашел к нему вдруг – и в ту минуту, когда, собственно, сам портрет лежал холстом вниз на столе, а кузен Ральф крепил к нему шнур, – твой отец пришел к нему и испугал кузена Ральфа, тихо сказав, что он тут поразмыслил немного и ему показалось, что кузен Ральф водит его за нос, но он все же надеется, что это не так. «О чем ты говоришь?» – спросил кузен Ральф немного суетливо. «Ты же не вывесишь мой портрет здесь, не правда ли, кузен Ральф?» – сказал твой отец, изучая взглядом стены. – Я рад, что не вижу его. Такова моя прихоть, кузен – и, возможно, очень глупая, – но, если ты так-таки напишешь мой портрет, я хочу, чтоб ты его уничтожил; в любом случае, не показывай его никому, держи в стороне от чужих взоров. Что это у тебя в руках, кузен?» Кузен Ральф все больше и больше волновался, не зная, что думать – как, собственно, я и сама не знаю по сей день – о странной просьбе твоего отца. Но он собрался с духом и ответил: «Это, кузен Пьер, тайный портрет; тебе, должно быть, известно, что мы, портретисты, иногда призваны писать такие. Потому я не могу ни показать тебе его, ни сказать о нем хоть слово». – «Так написал ты или нет портрет с меня, кузен?» – вдруг закричал твой отец, и очень резко. «Я не написал никого, кто был бы похож на тебя нынче», – увернулся от ответа кузен Ральф, наблюдая на лице отца твоего свирепое выражение, какого никогда не видал прежде. И больше ничего твой отец не смог от него добиться.

– И что потом? – спросил маленький Пьер.

– Ну, досказать осталось не так уж много, дитя мое; только твой отец никогда не имел и беглого знакомства с картиной; правда, никогда доподлинно и не знал, есть ли на свете такой портрет. Кузен Ральф тайком передал его мне, зная, как нежно я любила твоего отца, и взял с меня торжественное слово никогда не выставлять его там, где твой отец мог бы его увидеть или даже услышать о том. Свое обещание я честно держала, и только после смерти твоего дорогого

отца я повесила портрет в своей комнате. Ну вот, Пьер, теперь ты знаешь историю портрета в кресле.

– И она очень странная, – сказал Пьер. – И настолько интересная, что я никогда не забуду ее, тетушка.

– Я надеюсь, что никогда не забудешь, дитя мое. Теперь дерни за сонетку, и нам принесут небольшой фруктовый пирог, а я выпью бокал вина, Пьер... ты слышишь меня, дитя мое?... сонетка... дерни за сонетку. Что такое, что ты стал как вкопанный, Пьер?

– *Почему* папа не хотел, чтобы кузен Ральф написал его портрет, тетушка?

– Как же эти детские умы неугомонны, – закричала старая тетушка Доротея, разглядывая маленького Пьера в изумлении. – Это выходит из границ того, о чем я могу тебе сказать, малыш Пьер. Но у кузена Ральфа была своя глупая фантазия на этот счет. Он говаривал мне, что, будучи в комнате твоего отца спустя несколько дней после той сцены, что я описала, он заметил довольно диковинную книгу, кою тот читал, – «Физиогномику», как ее называют, – в коей излагались самые странные и туманнейшие правила, как узнать да выгащить наружу глубочайшие тайны окружающих, изучая выражения их лиц. И потому глупый кузен Ральф всегда обольщался мыслью, что недаром отец твой не желал, чтобы с него писали портрет, а все дело было в том, что он вступил в тайную любовную связь с тою француженкой и был против того, чтоб его тайна выставлялась в портрете на всеобщее обозрение, ибо в те поры замечательная работа по физиогномике сделала ему, так сказать, косвенное предупреждение, что возможен этакий риск. Но кузен Ральф, будучи столь склонным к тишине и уединению молодым джентльменом, всегда имел свои причудливые суждения. Что до меня, то я не верю, чтоб твой отец мог когда-либо возыметь этакие вздорные намерения касательно той особы. Будь уверен, пусть я и не могу растолковать тебе, отчего ж он так возражал, чтобы с него писали портрет, но, когда доживешь до моих лет, малыш Пьер, ты поймешь, что все люди, даже лучшие из нас, могут иногда совершать очень странные и необъяснимые поступки; порою мы что-то делаем, да не можем и себе самим вполне объяснить причину сего, малыш Пьер. Но со временем ты все узнаешь о сиих странностях человеческих.

– Надеюсь, что так, тетушка, – сказал маленький Пьер. – Но, дорогая тетушка, я думал, Мартин принесет нам фруктовый пирог?

– Дерни за сонетку, чтобы позвать его, дитя мое.

– О! Я и забыл, – сказал маленький Пьер, исполняя ее просьбу.

Итак, пока тетушка маленькими глоточками цедила свое вино, а мальчик ел пирог, оба вопросительно созерцали портрет; и наконец маленький Пьер, толкнув свой стул ближе к картине, закричал:

– Скажите, тетушка, неужели папа действительно был таким? Вы когда-нибудь видели его в этом темно-желтом жилете и галстук с крупным рисунком? Я помню печать и ключ очень хорошо; и всего неделю назад я видел, как мама достала их из маленького выдвижного, запертого на ключ ящика гардероба, но я не помню ни странных усов, ни темно-желтого жилета, ни большого галстука с белым рисунком; вы когда-нибудь видели его в этом галстук, тетушка?

– Дитя мое, это я выбирала материю для его галстука, да я же и сшила его для него и вышила монограмму «П. Г.» в уголке, но ее не видно на картине. Здесь блестящее сходство – и галстук и все остальное; так он выглядел в то время. Знаешь, малыш Пьер, иногда я сижу тут в полном одиночестве, смотрю, смотрю и смотрю на его лицо до тех пор, пока мне не начинает казаться, что и твой отец смотрит на меня, улыбается мне, кивает мне и зовет: «Доротея! Доротея!»

– Как странно, – сказал маленький Пьер. – Думаю, он смотрит на меня сейчас, тетушка. Чу! Тетушка, такая тишина царит во всей этой старинной гостиной, что мнится, я слышу тихое позвякивание от картины, как если бы печать на цепочке звякала, ударяясь о ключ, – дзинь! А вы слышите, тетушка?

– Бог с тобою, не говори так странно, дитя мое.

– Я когда-то услышал, мама сказала – но не мне, – что ежели спрашивать ее мнения, то ей не нравится картина тетушки Доротеи, на ней нет полного сходства, так она сказала. Почему мама не любит картину, тетушка?

– Мое дитя, ты задаешь весьма странные вопросы. Если твоей маме не нравится сия картина, то причина довольно проста. У нее-то дома портрет что куда больших размеров да лучшего качества, что сработан был по ее заказу; да и заплатила она тогда не знаю и сколько сотен долларов, и тот портрет также имеет чрезвычайное сходство, вот *это* может и быть причиной, малыш Пьер.

И такие беседы продолжали меж собою пожилая тетушка да малое дитя; и оба втихомолку считали друг друга чужаками; и каждый из них думал, что портрет странный и того более; а лицо с портрета все смотрело на них открыто и весело, как если б в нем и не было никакой сокрытой тайны, да потом вновь смотрело немного двусмысленно и с издевкой, словно лукаво подмигивало некоей другой картине, отмечая, насколько же глупа старая сестра и так же глуп маленький сын, споря с такою немислимой серьезностью и любопытством о большом галстуке с белым рисунком, о темно-желтом жилете да о том самом, воистину подобающем джентльмену привлекательном выражении его лица.

А затем, после этого крупного объяснения, как тому и следует быть, один за другим пронесли вереницею годы, пока маленький Пьер не вырос и не стал рослым молодым хозяином Пьером, и он мог уже звать картину своей; и ныне в тиши своего небольшого личного кабинета мог стоять пред нею, выпрямившись или же на что-то опираясь, а то мог и просидеть там весь день, если того пожелает, да все думать, и думать, и думать, и думать, до тех пор пока наконец все мысли станут расплывчатыми; а потом никаких мыслей и не останется.

Прежде чем он получил картину на свое пятнадцатое рождение, Пьер только через недосмотр матери или скорее через то, что однажды случайно вбежал в гостиную, как-то проведая о том, что его мать не одобряет сего портрета. Так как Пьер тогда был еще мал и портрет этот был портрет его отца да заветное сокровище его превосходной и нежно им любимой и любящей тетушки, то посему его мать с интуитивною деликатностью успела воздержаться от намеренного высказывания вслух своего личного мнения, кое шло вразрез с мнением всех прочих, в присутствии маленького Пьера. И эта благоразумная, хотя несколько бессознательная, деликатность матери, возможно, отчасти находила отклик в ответной милой чуткости, кою проявлял ребенок, ибо детям, утонченным от природы да благородного воспитания, порою свойственна чудесная и даже невиданная тактичность в соблюдении правил приличия, заботливость и терпение в таких делах, кои признают капельку сложными даже их старшие да те, кто сами возомнили себя таковыми. Маленький Пьер ни разу не признался матери, что через другую особу узнал ее мысли о портрете, принадлежащем тетушке Доротее; казалось, что он словно интуитивно пришел к такому умозаключению, какое можно было сделать, поразмыслив над разницей в обращении его отца с ними обеими да припомнив и прочие, менее значительные обстоятельства, – умозаключению, что в некоторых случаях ему куда приличнее было показать больше любопытства в разговоре с тетушкой, нежели с матерью, особенно если речь заходила о портрете в кресле. И посему теми доводами, что приводила тетушка Доротея, объясняя причины неприязни его матери, он довольствовался еще долгое время или, по крайней мере, считал их вполне весомыми.

Когда же портрет прибыл в Луга, так сложилось, что мать его находилась в отлучке; и потому Пьер просто молча повесил его в своем маленьком кабинете; а когда спустя день-два его мать возвратилась, он не сказал ей ни слова о получении портрета, все еще на диво глубоко чувствуя ту некую тусклую тайну, что окутывала картину, да опасаясь не без причины, что ему вовсе откажут в праве преклоняться пред ней, ежели он начнет с матерью какие угодно препирательства о подарке тетушки Доротеи или же осмелится выказать несносное любопытство,

делая матери вопросы о причинах ее личного и упорного предубеждения против сей картины. Но как только проведал он – и случилось это спустя совсем немного дней после прибытия портрета в имение, – что мать посетила его маленький кабинет, то, увидевшись с нею на другой день, он приготовлялся услышать, что-то она сама скажет о том последнем украшении, что там прибавилось; но поскольку она пренебрегла всяким упоминанием о чем-либо в этом духе, он незаметно впился в нее глазами, силясь подметить малейшее новое чувство, что затуманило бы ее чело, как он мог того ожидать. Однако он не нашел в ней никакой перемены. А поскольку всякая истинная учтивость от природы имеет накопительный эффект, то сие внушающее трепет, взаимно принятое, хоть и лишь подразумеваемое табу в разговорах, что вели меж собою мать и сын, так никогда и не было нарушено. И то была еще одна, дорогая им обоим, и свято ими чтимая, и благая связь меж ними. Ибо, что бы там порою ни говорили иные влюбленные, любовь не всегда бежит секретов, как и природа, по преданию, боится пустоты<sup>75</sup>. Любовь родилась из тайн, как прелестная Венера – из ажурной и вечной пены морской. Секреты любви, будучи таинственными действиями, всегда подлежат трансцендентному да вечности; и потому они подобны хрупким мосткам, что повисли над бездной, через которую наши будущие тени отлетят в те края, где царят золотые туманы да вдохновение, где берут начало все поэтические, прекрасные мысли, что станут проникать в нас по крупичкам, как, должно быть, жемчуга капают вниз с радуги.

Со временем, сие безгрешное и чистейшей воды невинное умолчание с обеих сторон привело лишь к тому, что портрет представлялся даже в более выгодном свете, поскольку тем самым на него набрасывали еще несколько прелестных покровов тайны да приправляли, так сказать, свежим фенхелем<sup>76</sup> и розмарином благоговейную память об отце. Несмотря на то что Пьер, как мы уже сказывали, оставшись в одиночестве, любил, само собою, помечтать о какой-то невероятной разгадке предпоследней тайны портрета, да такой, чтобы в нее входило и объяснение странной неприязни его матери, однако даже искусный разбор всех фактов, что он всякий раз производил в уме, когда отдавался таким мечтам, никогда не побуждал его преступить заветную черту с тем, чтобы вывести личную неприязнь его матери на чистую воду, поставив ее вдруг над всеми двусмысленными рассуждениями о неизвестных сторонах характера да холостяцких годах жизни того, с кого писали сей портрет. Не то чтобы он категорически запрещал своей фантазии прогуливаться в полях цветистых предположений, но всем таким размышлениям должно было лишь прославлять тот чистый, святой образ, что в его душе покоился на общепризнанных и общеизвестных фактах жизни его отца.

## V

Если ум без цели странствует в бесконечно раздвигаемых пределах недолговечного вымысла и всякую ясную мысль или яркий образ он возьмется объяснять тысячей мелких подробностей, кои сам же и создает, черпая их из вечного источника, где распадаются на фрагменты все его прежние думы, то под силу ли нам тогда пытаться поймать на лету да обрисовать наименее размытую из тех догадок, что во времена его ранней юности, кои мы ныне описываем, довольно часто вертелась на уме у Пьера, когда б он ни начал строить предположения, объясняющие заметную неприязнь его матери к портрету. Мы рискнем все же и сделаем всего один набросок.

<sup>75</sup> В оригинале – *nature is said to abhor vacuum*. От латинского *natura abhorret vacuum* – высказывание из трактата «Физика» Аристотеля, который полагал, что пустоты в природе не существует; обрело широкую известность после того, как Рабле помянул его косвенной цитатой в «Гаргантюа и Пантагрюэле». По смыслу это высказывание очень близко русской поговорке «Свято место пусто не бывает».

<sup>76</sup> Фенхель – приправа, которая имеет очень приятный, немного сладковатый, освежающий вкус. В просторечье ее называют укропом.

«Да, – смутно думалось иной раз Пьеру, – как знать, вдруг кузен Ральф, может статься, был недалек от истины, высказывая догадку, что мой отец и впрямь питал в свое время некие мимолетные чувства к прелестной молодой француженке? А сей портрет был сделан именно в то время и, право же, и преследовал-то лишь одну цель – запечатлеть какое-то неопределенное, но подлинное доказательство той любви, кое притаилось в очерке этих румяных губ, вот почему сие выражение его лица вовсе не кажется ни близким, ни узнаваемым, ни приятным моей матери, ибо отец мой не улыбался ей так никогда (с самого первого дня их знакомства); да прибавить сюда еще то известное чувство, что свойственно одним лишь женщинам, то чувство, кое я бы мог, возможно, назвать, если б оно относилось к любой другой леди, своеобразною ревностью влюбленной женщины, ее непомерно требовательною гордостью, что шепчет ей о том, что сей взгляд, каким отец смотрит с портрета, по некой неясной причине предназначен вовсе не ей, а какой-то другой и неизвестной красавице; и потому она даже слышать о нем не может, и потому она решительно его отвергла, ибо она, само собой, и будет столь нетерпима, когда другие делятся воспоминаниями о моем отце, где тот, как она помнит, еще не был ни словом, ни чувством связан с нею.

Поскольку тот парадный портрет, который отличается куда более внушительными размерами и висит в нашей большой гостиной, был сделан, когда мой отец находился во цвете лет, в те поры, когда шли лучшие дни его супружеского союза, а жизнь представлялась им обоим в розовых тонах, написанный по личной настойчивой просьбе моей матери, кисти знаменитого художника, которого она сама выбирала, да не забыть и одеяния моего отца, в коих он позировал, что также отвечали ее вкусу, и те, кто знал отца, твердят со всех сторон, что здесь необыкновенно счастливое сходство, таким-де он и был в те года, а их уверенность духовно укрепляет мои смутные детские воспоминания, – и это все причины, почему сей портрет из большой гостиной обладает в ее глазах бесчисленными очарованиями, ибо в нем она любит своего супруга, видя его именно тем, кем он ей казался; на этом-то портрете ей нет нужды отрешенно взирать на чуждый призрачный образ, что во всех прочих будит стародавние, а по ее мнению, едва ль не сочиненные воспоминания о холостяцких годах жизни моего отца. Ну, а на том, другом портрете ее любящему взору предстает одно перепевание более поздних повестей и преданий о его верной любви к ней в годы их брака. Да, нынче мне думается, я вижу все ясно, и это не могло быть иначе. Но меж тем рой ранее неведомых, чудных мыслей поднимается во мне всякий раз, как устремлю свой взор на загадочный портрет отца в кресле – портрет, где отец хоть и видится мне еще большим незнакомцем, чем то могло бы казаться моей матери, все ж таки, мнится, порой мне говорит: „Пьер, не верь картине из большой гостиной; это не твой отец; или, по крайней мере, она говорит не *все* о твоём отце. Пораскинь умом, Пьер, не можем ли мы, два портрета, составлять вместе один общий. Добродетельные жены всегда питают безграничную привязанность к тем образам своих мужей, что сами себе и выдумали; а добродетельные вдовы всегда чересчур благоговеют перед мнимыми призраками тех самых выдуманных мужей, Пьер. Взгляни снова, я твой отец, каким он был на самом деле. Во взрослой жизни, Пьер, под влиянием света мы лишаемся простора в наших желаниях да приобретаем глянecь; тысяча правил приличия, светских условностей и масок нас теснит, Пьер, и тогда мы так или иначе предаем самих себя да нарекаем вымысел нашим именем, Пьер; в юности мы *живем*, Пьер, а в зрелые года *кажемся*. Взгляни же на меня снова. Я твой истинный отец, гораздо более верное его отражение, хоть ты и думаешь, что не знаешь меня, Пьер. Ни один отец не поверяет сокровенных мыслей малолетним детям, Пьер. Порой у нас за душою с лихвой наберется на тысячу и на один случайных, темных грешков, а мы считаем, что нам отнюдь не стоит раскрываться пред ними, Пьер. Взгляни-ка на эту чудную, двусмысленную улыбку, Пьер, да присмотришься повнимательней к этим губам. Смотри, иль ты не видишь, какой неутолимо страстный и, я бы даже сказал, скабресный блеск в этих глазах? Я твой отец, мальчик. Когда-то я знался с некою, о, более чем прелестной юною француженкой, Пьер. В юности голова горяча, а соблазн

силен, Пьер; и в минуту увлечения мы ведем себя самым решительным образом, а сделанного не воротишь, Пьер; и поток времени мчится вдаль и не всегда несет в своих водах иные предметы, но возьмет да и выбросит их волною на берег да оставит позади, далеко позади, в молодых, зеленеющих землях, Пьер. Взгляни-ка на меня вновь. Иль задаром твоя мать так на меня ополчилась? Подумай. Все ее невольные, проникнутые любовью суждения о своем супруге ужель не были постоянными попытками возвысить его, превознести до небес да сотворить себе кумира из воспоминаний, Пьер? Потому-то она и дышит на меня огнем да никогда не говорит обо мне с тобою; и сам ты почему ни словечка о том не проронишь при ней, Пьер? Подумай. И тебе во всем этом не чудится ни малейшей загадки? Подумай немного, Пьер. Не смущайся же, не смущайся. Это ни к чему, ибо твой отец здесь, с тобою. Взгляни, иль я не улыбаюсь?.. и притом неизменной улыбкою; и таковой я улыбался в течение долгих минувших лет, Пьер. О, это улыбка, что никогда не меняется! Я улыбался так же кузену Ральфу и ровно так же в гостиной твоей дорогой старой тетушки Доротеи, Пьер; да ровно так же я ныне улыбаюсь тебе и даже в последние годы жизни твоего отца, даже когда его тело, должно быть, оплакивали, я – скрытый от посторонних глаз в секретере тетушки Доротеи – все улыбался так же, как и прежде; и ровно так же улыбался бы, повисни я на каком-то крюке в глубочайшей темнице испанской инквизиции, Пьер; и, оставленный в полной темноте, я бы по-прежнему улыбался этой улыбкою, несмотря на то что вокруг не было бы ни души. Подумай, ибо улыбка есть не что иное, как первейшее орудие всех двусмысленностей, Пьер. Мы улыбаемся, когда хотим обмануть и когда втайне готовим какую-нибудь милую маленькую проделку, Пьер, и все лишь для того, чтобы хоть немного унять жар своих прелестных страстишек, Пьер, только взгляни, как мы тогда расплываемся в нечаянных улыбочках. Давным-давно я знал прелестную юную француженку, Пьер. Ты когда-нибудь серьезно спрашивал себя, задавая вопросы с позиций анализа, и психологии, и метафизики, каковы были ее пожитки, да ее окружение, да все ее мелкие расходы, Пьер? О, сомнительного сорта была история, что твоя дорогая старая тетушка Доротея когда-то давно поведала тебе, Пьер. Много лет назад я и сам знал эту доверчивую старую душу, Пьер. Подумай, подумай немного... видишь... кажется, в ее рассказе есть один маленький пробел, Пьер... камень преткновения, камень преткновения. Всегда что-то можно разузнать, если долго и настойчиво опрашивать всех в округе; а мы неспроста столь упорно проявляем к чему-то интерес, Пьер; мы неспроста интригуем столько, становимся коварными дипломатами да мысленно оправдываемся после пред самими собою, Пьер; и боимся следовать индейской тропею, ведущей из широких просторов равнин во тьму лесов, Пьер; но довольно, слова – для мудрых“».

Вот так порой то было в мистической глухой тишине длинных деревенских ночей, когда большой особняк затихал, отделенный от мира густой пеленою декабрьских снегопадов, или же утопал в молочном безмятежном свете августовской луны; в торжественном, населенном призраками безмолвии огромного этажа, который занимал он один, он охранял свой же маленький кабинет, и, можно сказать, стоял на часах в том таинственном покое, где пребывала картина, да все выискивал в ней некие, странным образом скрытые просветы толкований, что столь мистически перемещались с места на место, не выходя из границ полотна; вот так порою стаивал Пьер перед портретом отца и, сам того не ведая, открывался навстречу всем тем несказанным намекам и двусмысленностям да неясным почти предположениям, кои иной раз столь же плотно теснятся на просторе души человеческой, как в пору мгливой, неторопливой метели бесчисленные снежинки роятся в воздухе. Но до сего дня Пьер, начавши, по обыкновению, с этих грез и глубокой задумчивости, всякий раз собирал воедино все уцелевшие фрагменты мыслей, что боролись друг с другом да текли сами по себе; и тогда метель стихала в единый миг, ни одна снежинка более не кружилась в воздухе, а Пьер, ругая себя за потокающее его желанием страстное увлечение, в сердцах давал обещание никогда больше не предаваться полуночным мечтаниям перед отцовским портретом в кресле. Однако воды этих мечтаний, казалось,

не засоряли его души заметным осадком; столь светлоструйными и столь быстротечными они были, что уносили с собою весь ил и, казалось, оставляли русла Пьеровых мыслей столь же чистыми и сухими, словно там никогда не проносился ни один мутный поток.

И до сей поры его добрые, дорогие сердцу поэтические воспоминания об отце ничто не оскверняло; а все загадки портрета лишь окутывали его прелестью и легендарным флером романтической истории, сутью которой как раз и была та самая тайна, что порой неким неуловимым образом обретала дьявольскую значимость.

Но теперь, *теперь!*.. письмо от Изабелл прочитано: с тою же быстротой, с какой первые лучи зари летят от восходящего на небосклон солнца, Пьер увидел, что все прежние двусмысленности, все тайные покровы разметаны на клочья, словно острым мечом, и на него наступают сонмы призраков из вечного мрака. Ныне все отдаленнейшие детские воспоминания: предсмертные слова его отца, лежащего в горячке, его мертвеннобледная рука, напрасно ищущая чью-то руку, странная история тетушки Доротеи, таинственные полуночные намеки самого портрета и, сверх того, интуитивная неприязнь его матери к портрету – все, все представилось ему единым доказательством.

А теперь его осенило неизбежное интуитивное прозрение, и все, что было для него необъяснимою загадкой портрета, да все те необъяснимо знакомые черты в облике двойницы, все самым чудесным образом совпало меж собою; и веселость одного не пребывала в разладе с печалью другой, но из-за некоей непостижимой взаимосвязи в них было обоюдное сходство и, можно сказать, их образы совмещались один с другим, и сие глубоко проникающее единство имело вдвойне сверхъестественные очертания.

Повсюду, куда он ни обращал свой взор, физические объекты материального мира трепетали по краям, расплывались и уступали место зыбкому миру видений; и тогда он, вскочив на ноги, сжал кулаки, уставясь неподвижным взглядом в одну точку, черты его исказились и у него вырвались те дивные строки из Данте, где тот повествует о двух слившихся тенях в Аду: «Увы, Аньель, да что с тобой такое? Смотри, уже ты ни один, ни двое!»<sup>77</sup>.

---

<sup>77</sup> Алигьери Д., Божественная комедия / Пер. М. Лозинского, М.: Правда, 1982. Гл. XXV. Ст. 67.

## Глава V

# ДУРНЫЕ ПРЕДЧУВСТВИЯ И ПОДГОТОВКА ДУШЕВНЫХ СИЛ

### I

Было далеко за полночь, когда Пьер вернулся в особняк. Он выбежал из дома, будучи в том полном оглушении всех мыслей и чувств, какое у столь пылких натур всегда вызывает первое известие о каком-то неожиданном и ужасном несчастье; а теперь он возвращался, обретя некое подобие спокойствия, ибо мирное безмолвие ночи, да взошедшая луна, да россыпи звезд, что показались на небе с запозданием, – все наконец для него слилось в одну мелодию, чудную и успокаивающую, коя, хоть поначалу и угнетала его, и будто бы насмеялась над ним, тем не менее мало-помалу да окольными путями проникла в его сердце и таким манером влила в него свое умиротворение. Теперь же, с высоты этого спокойствия, он с твердостью взирал на выжженный внутренний ландшафт своей души; словно канадский лесник, которому пришлось бежать из родных лесов от большого пожара, и вот он вернулся, когда угасли последние языки пламени, да уставился не мигая на бесконечные поля тлеющих углей, что кроваво мерцали то там, то сям сквозь широкую завесу дыма.

Как мы уже сказали, когда бы Пьер ни искал одиночества в некоем надежном пристанище да укрытия в его стенах, маленький кабинет, что сообщался со спальней, был любимое его логово. И потому он, возвратясь к себе в комнату, добавил масла в светильник, что едва горел, и, поддавшись порыву, вошел в свое убежище да опустил, сложа руки и поникнув головой, в привычное старое кресло на драконьих лапах. Чувствуя, что в ногах его собралась свинцовая тяжесть и в сердце на смену ледящему холоду пришло странного рода безразличие и что чудное оцепенение понемногу завладевает им, он какое-то время сидел в неподвижности, пока, словно путник, что остановился на отдых в снегах, он не начал решительную борьбу с этой приятной сонливостью, что есть самый коварный и смертельный из всех симптомов. Он поднял глаза и лишь тогда обнаружил, что находится перед утратившим часть своей загадочности, но по-прежнему двусмысленно улыбающимся портретом отца. В тот же миг все его прежние мучительные размышления и страдания возобновились, но еще не с той силою, чтоб он мог стряхнуть с себя завладевшее ним страшное оцепенение. Но у него не стало мочи долее терпеть улыбку портрета; и вот, поддавшись неодолимому неведомому порыву, он поднялся из кресла да и сорвал картину со стены, не потрудившись даже открепить веревки, на коих та держалась.

Обнажилась задняя сторона картины, пыльная, с клочками сморщенной бумаги по краям холста, что уцелела еще с давних времен. «О символ, что в душе моей обратился в свою же противоположность, – простонал Пьер, – не можешь ты более тут висеть. Лучше я вовсе вышвырну тебя вон, чем стану длить твое явное оскорбление. У меня больше не будет отца». Он оборвал веревки, что соединяли картину с карнизом, и вынес ее из кабинета, и схоронил на дне глубокого сундука, покрытого голубоватым чинцем<sup>78</sup>, и запер ее там. Но стена все же сохранила оставленный портретом неясный след – на слегка потускневших обоях выделялся пустой и печальный квадрат. Он стремился теперь отовсюду вытравить малейшее напоминание о своем низложенном отце, будто опасаясь, что все дальнейшие о нем размышления не только совсем бесполезны, но могут неизбежно его довести до помрачения рассудка и разрушений, которых

---

<sup>78</sup> Чинц – голубая хлопчатобумажная ткань.

душа его громко требовала уже сейчас, призывая не только переносить сие небывалое горе в стойкости, но и немедленно предпринять что-нибудь. Необдуманное и жестокосердное деяние – вот как юность всегда судит о том, но заблуждается, ибо жизненному опыту прекрасно известно, что поступок, который, мнится, лишь обострит горе, на деле есть его болеутоляющее, хотя, чтобы унять боль навсегда, нам придется сперва претерпеть какие-то новые страдания.

Но еще не теперь, хоть Пьера до костей и пробирало при мысли, что вся его прежняя нравственная жизнь опрокинута с ног на голову и что ему предстоит заново воссоздавать для себя справедливое устройство мира, от того самого краеугольного камня, что зиждется в основе мироздания; еще не теперь принялся Пьер изводить себя мыслью о том последнем пределе опустошения да о том, как бы заставить то помертвелое поле снова расцвести. Казалось, он чувствовал, что в самых глубинах его существа притаилась неясная, но неистребимая вера, способная взять над ним власть в сию пору брожения во всех дедовских заветах и непрочных его убеждениях; нет, не окончательно, чуял он, его душа погрузилась во мрак анархии. Неведомый регент принял царский жезл по праву; и Пьер не весь еще отдался тому явному грабежу и разорению, что под влиянием горя творились в его душе.

Если б сердце Пьера не было столь пылким, то наипервейший вопрос в отношении Изабелл, который пришел бы ему на ум, был: «*Что* я должен сделать?» Но вопросы такого рода никогда не занимали Пьера, ибо безграничное добросердечие его натуры не давало ни единой тени двусмысленности заслонить от него ту ясную цель, к которой он ныне стремился. Но если цель свою он видел предельно ясно, не так обстояло дело с поиском пути к ней. «*Как* я должен сделать это?» – было загадкой, что поначалу, казалось, не имела ни малейшего разрешения. Однако, сам того не ведая, Пьер был из тех, кто не вдается в скрупулезные и своекорыстные разборки незначительных «за» и «против», а вместо этого, слепо и без раздумий повинувшись самому ходу событий, predeterminedенному свыше, обретает наконец наилучшее средство уладить все трудности и великолепнейшую привилегию раздавать распоряжения. И так как на вопрос: «*Что* я должен сделать?» – уже готов был ответ, подсказанный самою сложностью сложившейся ситуации, то посему он пока что, скажем так, оставил за бортом своего сознания все мучительные размышления о том, «*Как* следует сделать это?», пребывая в уверенности, что грядущее объяснение с Изабелл непременно подтолкнет его к дальнейшему. А между тем его интуиция, что руководила им все это время, вовсе не молчала и, не таясь, перечисляла ему многочисленные рифы горчайших истин, кои Пьер различал впереди, в бескрайнем море несчастий, куда забросило его утлый челн.

Если все произошло по воле высших сил и те, полагая это самым мудрым исходом, готовили ему бесценную награду за тяжкие страдания, коими они ныне очищали его душу от веселых заблуждений и наполняли ее взамен печальной правдою, то сколь же мало преуспела сия святая инквизиция, орудуя с помощью завуалированно индуктивных рассуждений, коим отправною точкой послужило постигшее его небывалое несчастье, будто сверхъестественная сила проникла вовнутрь, взяла да озарила самые потайные закоулки души человеческой, неся некий, доселе неведомый и непонятный светоч, что, словно электрический свет, вспыхнул вдруг в сладостной темноте, разослав во все стороны снопы ярчайших лучей, которые в единый миг разогнали атмосферу ленивой дремы и обратили окружающее в царство слепящего света, так что предметы, очертания коих прежде неясно проступали во тьме, казались призрачными и романтическими, ныне предстают в своем подлинном обличье, так что во вспышке разоблачений этого удивительного огня, рожденного горем, мы видим вещи такими, какие они есть; и хотя когда электрический свет гаснет, все вокруг вновь скрадывает тьма, а предметы вновь обретают свои обманчивые формы, однако нет у них больше власти нас морочить, так как теперь даже если мы видим пред собою их ложные черты, то по-прежнему помним о том, каков их истинный, настоящий облик, несмотря на то что сейчас он снова скрыт от нашего взора.

Так было и с Пьером. В счастливую пору юности, когда его еще не постигло великое несчастье, он замечал в окружающих предметах лишь иллюзорные черты, подлинная же их явь от него ускользала. Но ныне метаморфозу претерпел не один только образ любимого отца, что на его глазах обратился из шумящего зеленой листвою древа в трухлявое бревно, изменились вместе с ним все прочие образы в его сознании, ни один из них не ушел от вездесущих лучей этого электрического света, что просочился в каждый уголок его души. И даже его прекрасная мать, которую не в чем было упрекнуть, не осталась на своем высоком пьедестале, ее образ также преобразился под влиянием испытанного ним потрясения. На новые черты ее облика, когда те впервые ему открылись, Пьер взирал в немом ужасе; и теперь, когда миновала буря электрического огня, этот образ, столь неожиданно развенчанный, он оплакивал в своем сердце в безграничной печали. Та, пред кем он меньше благоговел, но кто была ему милее и ближе душевно, кто всегда казалась Пьеру не только прелестною святой, лику которой он творил свои ежедневные молитвы, но также доброю советчицей и исповедником, а ее опочивальня почиталась им как тихая гавань да обитая атласом исповедальня, – его мать более не была для него божьим созданием, что всех на свете прекрасней; никогда больше, чувствовал он с предельною ясностью, не прийти ему к матери, как к той, чьи чувства находятся в полной гармонии с его собственными, как к той, с кем он может почти без утайки излить свою душу, как к той, кто одна в силах ему указать верный путь, по которому надо идти. Можно лишь дивиться тому, сколь безошибочным было прозрение подлинного характера его матери, что пришло к нему свыше вместе с этим электрическим светом, дарованным судьбой. Его мать могла хорошо справляться с обыкновенными трудностями; но когда Пьер принимался вертеть в уме пробный камешек от той колоссальной скалы нужды, с вершины которой он думал воззвать к ее сердцу, то чуял в себе глубочайшую уверенность в том, что она рухнет замертво под этой немислимой тяжестью.

То была благородная душа, но в своей жизни она, по большей части, привыкла видеть лишь позолоту и благополучие, и до сих пор ей, по сути, немного было известно о настоящих тяготах, а во всех обстоятельствах своего воспитания и развития она находилась под исключительным влиянием семейных традиций и светских правил приличия. Не станет его рафинированная, изысканная, любящая, безмятежная мать, Пьер это понимал, безропотно, как святая мученица, принимать эти известия, донельзя шокирующие, и рукоплескать, да так, чтоб эхом отозвалось в его собственном сердце, услышав о его прекраснородном решении, исполнение коего повлечет за собою неприятное удивление и насмешки всего света.

Мама!.. Милая мама!.. Бог даровал мне сестру, а тебе – дочь, но загрязнил ее величайшим бесчестьем и заклеил презрением всех, и потому мне и тебе... тебе, мама, предстоит с почетом признать ее, и защитить своим добрым именем, и... «Нет, нет, – стонал Пьер, – никогда, никогда... ни единой секунды не стерпит она таких слов». И тогда, грозная, и высокая, и неприступная, вознеслась ввысь перед мысленным взором Пьера доселе невообразимая, дивная твердыня заоблачной гордости его матери – фамильная гордость, гордость богатства, гордость незапятнанной репутации, а также гордость той утонченной жизни, что ведут все богатые и знатные, и вся гордость женщины, стоящей столь же высоко, сколь стояла Семирамида. В тот же миг он мысленно отшатнулся от сего видения, обративши взор в глубину своего сердца, и лишь в самом себе он обрел и силы, и поддержку. И вслед за тем Пьер окончательно понял, что ему была всегда втайне присуща отчужденность некоего страстотерпца, коему на этом свете не видать признания ни от родных, ни от своей отчизны. Притом то было чувство острого одиночества и обездоленности. Он тогда всей душою желал хоть на миг вернуть вспять тысячу сладостных иллюзий жизни, пусть и приобрел на них право знать жизненную правду, – только бы на одно мгновение не быть больше юным Измаилом, изгнанным в пустыню без любящей матери Агари, что утешала бы его и делила с ним его участь.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.